

ИСАИЯ БЕРЛИН

НИКИТА ХРУЩЕВ

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ

ХАННА АРЕНДТ

ПРИМО ЛЕВИ

Д. Д. СЭЛИНДЖЕР

ВЯЧЕСЛАВ ИЗМАЙЛОВ

СОЛ БЕЛЛОУ

А *Личный архив*

АНАТОЛИЙ

НАЙМАН

«ЕВРЕЙСКОЕ СЛОВО»:

КОЛОНКИ



Личный архив

Анатолий Найман

«Еврейское слово»: колонки

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Найман А. Г.

«Еврейское слово»: колонки / А. Г. Найман — «АСТ»,
2017 — (Личный архив)

ISBN 978-5-17-105714-5

Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном доме имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стучал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-105714-5

© Найман А. Г., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

2005 год	7
21–27 декабря	7
2006 год	9
11–17 января	9
18–24 января	11
25–31 января	13
15–21 февраля	15
1–7 марта	17
15–21 марта	19
29 марта – 4 апреля	21
12–25 апреля	23
26 апреля – 2 мая	25
24–30 мая	27
7–13 июня	29
14–20 июня	31
19–25 июля	33
13–19 сентября	35
20–26 сентября	37
25–31 октября	39
15–21 ноября	41
22–28 ноября	43
6–12 декабря	45
2007 год	47
10–16 января	47
31 января – 6 февраля	49
21–27 февраля	51
7–13 марта	53
28 марта – 3 апреля	55
18–24 апреля	57
20–26 июня	59
4–10 июля	61
15–21 августа	63
5–11 сентября	65
19–25 сентября	67
26 сентября – 16 октября	69
7–13 ноября	71
14–20 ноября	73
28 ноября – 4 декабря	75
5–11 декабря	77
2008 год	79
22–28 января	79
12–18 февраля	81
19–25 февраля	83
11–17 марта	85
1–7 апреля	87
2–8 сентября	89

16–22 сентября	91
11–17 ноября	93
2–8 декабря	95
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Анатолий Найман

«Еврейское слово»: колонки

© А.Н. Найман, 2017

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017

Памяти Владимира Дынькина

В конце 2005 года позвонил редактор еженедельной газеты «Еврейское слово», предложил вести в ней колонку. До того времени я о таком печатном органе не слышал. Попросил прислать несколько номеров для ознакомления и нашел их достаточно живыми, интересными, серьезными и одновременно сколько-то тенденциозными, скучноватыми, доморощенными. То есть ровно такими, как большинство профильных текущих изданий. Лучше многих. Хотя и похуже некоторых. Тираж 42200 экземпляров (в кризис порядочно уменьшился), учредитель – Федерация Еврейских Общин России. Рассылается по подписке, в продажу не поступает.

Я согласился попробовать. Для работодателей «согласился» означает переход в их повиновение, «попробовать» не означает ничего. Первое, что от меня потребовали, это безотлагательно придумать название постоянной рубрики, под которой моя колонка будет печататься. Ничего лучше, чем «Взгляд частного человека», мне в голову не пришло, и до сегодняшнего дня я об этом не пожалел. Частным человеком я прожил все советское время и, насколько удастся, живу по сию пору. В эпоху тоталитарную как при коммунистах, или тяготеющую к авторитарности как сейчас, «частный человек» – это гражданская позиция, идейная установка, политическая философия. И сверх того, специфически привлекательно, по моим наблюдениям, для еврейского сознания с его азартной склонностью к независимости.

Писал по три колонки в месяц, последние два года каждую неделю. Издательство предложило их собрать и выпустить отдельной книгой. Какие-то я забраковал по соображениям вкуса, от других отказался потому, что близки одна другой по содержанию или уже отразились в других моих сочинениях. В газете на них лежала печать сиюминутного импульса. Понять, стоят ли они чего-то собранные воедино, или вид целостности им придает только обложка, мне не достает ни воображения, ни трезвой оценки. Так что узнать это смогу не раньше, чем выйдет книга. Как любой читатель.

Анатолий Найман, 2012

2005 год

21–27 декабря

Эту историю рассказал мне Исая Берлин, привожу дословно (мы говорили по-русски).

«Нету еврея в мире – крещеного, некрещеного, – в котором нет какой-то крошечной капли социальной неуверенности. Который считает, что он должен вести себя немножко лучше, чем другие – а то *они, им* это не понравится. К губернатору Иерусалима, еврейскому, пришли канадские евреи, в 1947 году, уже после осады. Он был во время осады Иерусалима арабами, и он вел дело довольно храбро и умело. По происхождению канадский еврей. К нему пришла делегация канадская, сионистская. Желали поговорить, спрашивали его, что нужно делать. Он давал разные советы, что нужно делать в Канаде – им. Они сказали: нет, вы знаете, если мы это сделаем, то это может канадцам не понравиться. Он сказал: а я думал, что *вы* канадцы».

Прелестная история. Я ее вспомнил, когда по новостям показывали концерт дружбы народов из Воронежа. Несчастные студенты из стран третьего мира, которым в этом городе не дают выйти на улицу, избивают и убивают, нарядились в подобие национальных костюмов и, как умеют, пели и приплясывали. Хотели понравиться. Не понравились. Не начальству, которое это придумало как мероприятие для рапорта наверх – а тем, кто избивает и убивает. Тем, кому они «не нравятся». И чем больше притопывают и трясут попками, тем больше не нравятся.

Нравиться не обязательно. Обязательно – вести себя с достоинством. Мы помним эпизод из книги Кенелли «Ковчег Шиндлера», когда лагерное начальство приказало трем сотням евреев подходить к лежащей Торе и плевать в нее – под угрозой немедленного расстрела. Отказался один – и был на месте застрелен. Остальные, согласившиеся, на завтра.

Я помню ослепительную вспышку сознания в юности после прочтения то ли Сэлинджера, то ли Толстого: «Ты никому ничего не *должен*». Не то чтобы я эту фразу вычитал, просто она ни с того, ни с сего во мне прозвучала. Юношеский максимализм. Но она была правильная. Методологически правильная и практически. Ты не должен, не обязан соглашаться на предлагаемое. Даже если предлагают якобы на выбор. Благополучие или так себе. Учиться на инженера или идти в рабочие. Ассимилироваться или уходить в национальную обособленность. Это выбор искусственный, намеренно усеченный. Ему противостоит единственная настоящая альтернатива: принимать предлагаемое – или поступать по потребности изнутри.

Нам предлагают выбирать – и это относится отнюдь не к одним евреям: государство или гетто. Или отдайся государству: России, Израилю, *Северной* Корее, *Материковому* Китаю – или «не выступай». Но эта реальность поддельная, навязываемая. Никому не может быть дела до того, насколько я люблю или не люблю жену, мать, детей, это касается только меня и их. То же и страну, в которой я родился и прожил всю жизнь. Никто не заставит меня понять, почему она кому-то принадлежит больше, чем мне. Почему Германия больше геббельсовская, чем томасманновская. Почему Геббельс любит ее больше, чем Томас Манн. У глагола «любить» нет повелительного склонения. Кроме альтернативы гетто – государство, есть еще такая форма социального существования, как, например, евреев в Америке. Они живут в этой стране точно так – ни исключительнее, ни угнетеннее, – как еще четверть миллиарда прочих американцев: ирландцев, негров, греков, латинос, украинцев.

Выезжая из России, я становлюсь русским. За границей не объяснить, что да, я рашн, но вообще-то мать у меня татарка, а отец поляк. Я просто начинаю разделять достоинства и дефекты того стереотипа, который сложился – и не без оснований – там о русских. Я не вижу

причин, почему дома мне следует вести себя иначе. Перед людьми, которым ты не нравишься, не надо петь, танцевать и разглагольствовать о человеческом братстве. Надо быть с ними ровно таким, каков ты в своей квартире. Иногда это может привести к конфликту, к неприятностям. Но ведь и квартира от них не защищена: ее затопляют соседи сверху, отключается вода и электричество, в ней можно заболеть и беспомощно валяться с высокой температурой. В ней в конце концов возможно и умереть. Но, по крайней мере, с тобой останется самоуважение. Когда хоккеисты сборной России заняли третье место, ее тренер Владислав Фетисов, отыгравший много лет в Соединенных Штатах, сказал недовольным, считавшим, что так мы роняем себя перед миром: «Научимся уважать сами себя. Тогда нас будут уважать другие».

В романе Имре Кертеса «Без судьбы» венгерский жандарм, сопровождающий поезд с евреями в Освенцим, заглядывает в вагон и предлагает сдать ему оставшиеся на руках деньги и ценности: «Там, куда вы едете, это вам больше не понадобится. Немцы все равно отберут. Так что пусть лучше попадет в венгерские руки!» «После короткой паузы, не лишенной некоторой торжественности, он (тут его голос стал почти теплым, в нем зазвучали доверительные интонации и готовность все забыть и простить) добавил: «В конце концов, вы ведь тоже венгры!»»

Пронзительная сцена. На миг меня захватывает сумасшедшее желание: вот сейчас кто-то в вагоне ответит: «Почему это мы «тоже», а не ты «тоже»? Чем ты больше венгр, нежели я? Я венгр, я европеец, я еврей, но прежде всего я – я!»

2006 год

11–17 января

В начале ноября в Нью-Йорке я переходил Парк-авеню и едва не налетел на велосипедиста. Или он на меня – мы не стали разбираться, чья вина. Это был чернокожий мужчина лет под пятьдесят, в последний момент он обоими колесами вспрыгнул на тротуар, встал как вкопанный и неопределенно мне улыбнулся. Я ему. Он сказал, что я при ходьбе неправильно распределяю вес. Нельзя, чтобы вес целиком оказывался то на одной ступне, то на другой. Даже при полной опоре на левую, следует оставлять немного тяжести и для переносимой по воздуху правой. Как бы чуть-чуть проплывать над землей. Все это он произносил, спешившись и наглядно демонстрируя. Разумеется, нужна тренировка. Упражнения. Он показал несколько, немного присел, отклонил туловище, которое держал вертикально, назад, вперед, качнул его далеко направо, далеко налево. Чтобы приобрести такие навыки, сказал он, лучше всего велосипед. Он сел в седло, ступни на педалях, и в стоящем неподвижно велосипеде перевалился глубоко на одну сторону, на другую, раз десять. Спросил, есть ли у меня велосипед. За сотню можно купить подержанный прекрасного качества. Если я хочу, он может пойти со мной в магазин прямо сейчас: ближайший – в двух кварталах. Я сказал: не сейчас. Он предложил тогда хотя бы повторить показанные им движения. Я повторил... Теперь попробуйте «проплыть». Великолепно. Хотите на велосипеде?.. Я отказался вежливей, чем требовалось, давая знать, что на этом мы расстаемся... А откуда вы?.. Из Москвы, Россия... Там есть велосипеды для зимы?.. Я сказал: не у всех. Всего вам доброго... А сколько вам лет?.. Штук на двадцать больше, чем вам... Он произнес: как я вам завидую! В таком возрасте – и впереди еще освоение велосипеда и ходьбы с правильным распределением веса. И умчался, свешиваясь туда и сюда.

Через неделю я ехал в троллейбусе по Бутырской улице. Через проход сидела старая женщина с энергичным лицом и готовностью заговорить – так что я, не поворачивая головы, смотрел прямо перед собой. У «Макдональдса» она проговорила первое слово. «Сволочи!» Никому – всем. Дальше ожидаемый текст: понастроили, понахапали, понаехали. «Пришлые!» Это слово выдало некоторую литературность ее сознания, но обдумывать не было времени, потому что она взывала: «И салон перестраивают! Ничего нам не оставляют!» Салон был салон красоты, в который, как я, проезжая множество раз мимо, видел, входили местные красотки и решительные крупные мужчины. Я готов поклясться, что у кого перестройка здания не отняла этот рай, это у ораторши. «Чтоб они все поразбивались на своих мерседесах! – взошла она в зенит, доведя голос до максимума. – На всех иномарках! На жигулях и нивах – ничего: наши ездят, нищие. Пусть ездят, если хотят. А на этих – насмерть! До одного!» «А на велосипедах?» – спросил кто-то под несколько смешков. Смешки булькали вдоль всего ее монолога, неизвестно чьи, я не оборачивался. Но тут мне было выходить, я увидел, что обращалась она не ко всем, а к четырем парням на сидениях позади нее и меня. Лица ребят, скажем, после дембеля, скажем, с московской окраины, выражающие независимость, но без вызывающей агрессивности. «На велосипедах? На велосипедах пусть не разбиваются», – разрешила она.

Я ехал на беседу с влиятельным человеком, про которого непонятно было, богач он, или политик, или то и другое. В немногих словах по телефону он сказал мне, что хочет сделать интересное предложение. Не против ли я встретиться в кафе фитнес-клуба? А может быть, и разделить с ним сам спортивный сеанс? Тогда пусть захвачу сменные кроссовки... Уже в кафе он все время разминал шею и плечи. Это действовало на меня, создавало впечатление, что разговор отнимает его фитнес-время. Он предложил мне сотрудничать в новой, создаваемой им и еще несколькими «серьезными партнерами» газете. Она будет совершенно свободной –

но не либеральной. В частности, она будет недвусмысленно ориентировать читателей на то, что главной причиной их затруднений и неприятностей в делах и в быту – так же как затруднений и неприятностей всего государства – являются чужаки. Оборотливые, беспринципные и связанные круговой порукой, они опережают коренное население в делах и напрягают повседневную жизнь в соответствии со своими обычаями... На этом месте он предложил нам перейти в тренировочный зал, «джим», как он его назвал.

В джиме он сел в приспособление, раздвигающее и сгибающее руки и ноги, и мне указал на такое же рядом. Я сказал, что предпочитаю качалку, в неподвижном, по возможности, состоянии. Из качалки я сказал, что расхожусь с ним во мнении о чужаках. Но что даже если бы он был прав и положение надо как-то поправлять, настрой на антагонизм не кажется мне продуктивным. Я пояснил: мне же не приходит в голову считать причиной возникающих в моей жизни затруднений и неприятностей то, что вы оборотливо сосредоточили в своих руках богатство и политическое влияние, частью которых, по вашей логике, мог бы обладать я.

Он пересел на велосипед без колес и погнал. На одном месте, но, мне казалось, что ускоряясь. Только из вежливости я встал на резиновую дорожку, включил минимальную скорость и зашагал – тоже на месте. Через минуту, пройдя, стало быть, метров сто, я понял, что аудиенция сто метров назад была закончена. Но шагалось легко и ритмично, и я не стал выключать мотор. В голову бесконтрольно, как бывает во время моциональной прогулки, приходили разрозненные, по большей части, дурацкие мысли. Я подумал: куда это и откуда могла ехать старуха? Решил, что с Тимирязевского рынка, где торгуют разогревающие ее кровь азеры, в свою однокомнатную квартиру – в доме, где на первом этаже Дворец бракосочетания с белыми лимузинами у дверей. Потом я поймал себя на том, что непроизвольно проделываю движения, которым научил меня негр. А он откуда и куда? Наверно, с юга Манхэттена, из гавани, где всегда пахнет океаном, – в комиссионный магазин на 81-й улице между Второй и Первой авеню, где иногда можно нарваться на потрясающий плащ «Жиль Сандр» за полцены. И то, и другое было из области гаданий. Определенно я мог сказать только, что мы с влиятельным человеком неслись ниоткуда в никуда.

18–24 января

В конце 2005 года (28. 11) на информационной ленте агентства Юнайтед Пресс Интернешнл был опубликован краткий анализ роли России в мире – современной и будущей. У россиян, говорилось в сообщении ЮПИ, доминируют две точки зрения на свою страну. Что Россия – великая держава. И что, не сохранив этот статус, она развалится. Автор анализа находит такие представления отравляющими национальное сознание неоправданным пессимизмом. Он считает, что и первое – едва ли, и второе. Едва ли Россия станет великой державой и едва ли развалится, не став. Гораздо реальнее, что Россия станет великой страной вроде Канады. Одной, заметим, из ведущих семи, а сейчас (после прибавления к семерке России) восьми стран планеты. И настоящий выбор для России – это стать второй Канадой среди западных стран, или такой же Канадой в орбите Китая.

Одна из многочисленных выкладок футурологов. Неглупая, небезосновательная, однако и не внушительная, а главное, такая же безответственная, как все во все времена разговоры о будущем. Исполнится – «я говорил»; не исполнится – никто не вспомнит. Но, как многие такие разговоры, занятная и подталкивающая на самостоятельное рисование подобных полуреальных-полумечтательных картин. Особенно в такие, как сейчас, дни года, «в крещенский вечерок», когда, по свидетельству поэта Жуковского, «девушки гадают». Например: а правда, как будет выглядеть карта мира лет через пятьдесят? Ну Китай, ну Соединенные Штаты, ну какая-никакая Европа. Эти три, положим, воплотят схему из романа Орвелла «1984»: будут по двое объединяться против третьего. Россия какое-нибудь место свое найдет – или ей найдут. А вот такая малая-шалая-бывалая страна Израиль – интересно, с ней что будет? Мне так очень интересно.

Потому что как силу и державу брать ее в расчет не получается. Зато как имя и место на земле никакому Китаю не уступает, скорее уж наоборот. Лет тридцать тому назад я переводил стихи бурятского поэта – по подстрочнику, понятное дело. Мы дружили, выпивали, иногда неумеренно. Ему в издательствах без обвиняков заявляли, что надо Наймана сменить на переводчика титульной нации. Но он уперся и, как сейчас говорят, меня не сдавал. Однажды познакомил со своим другом лет семидесяти, известным бурятским композитором. Маленький, изящный, с совершенным, как будто вырезанным из терракоты, азиатским лицом, тот тоже был выпивши, крепко. Пока мы пожимали один другому руки, он на меня пристально посмотрел и спросил: «Грузинчик?» Я сказал, что нет, что еврей. Пора уже было из его ладони свою вынимать, но он держал, как клещами. И, этим напряженным усилием словно бы подчеркивая важность момента, размеренно проговорил: «Мы, восточные люди, друг друга всегда поймем». Я внутренне засмеялся: ни сам, ни евреи вообще не совмещались тогда в моем сознании с ориентальностью. Где Восток, где я – ничем, кроме европейской культуры, не питавшийся, кроме воздуха европейского искусства не дышавший, кроме как европейской мыслью не умневший?

Не то теперь. Восток выходит – если не вышел уже – на первый план, и не в привычных нам мягких с расплывчатыми очертаниями формах, а в привычной нам западной структуре. На географических картах Запад бледнеет, Восток наливается интенсивным цветом, и неожиданно для себя мы видим, что Израиль на востоке. Более того, он всегда был на одной карте с Китаем: не на нынешней только, а и на немыслимо давней – на которой ни ЕС, ни США не обнаружить. Так что трудно представить себе, что ЕС выдюжит, США выживут, а Израиль нет. Что бы великие силы и державы для него ни придумали, он через всё уже проходил и знает, что в каком случае делать. Что в Палестине, что в Египте и что в Вавилоне. Президент Ирана Ахмадинежад предлагает ему переселиться в Европу. Но мы помним другое предложение – когда Иран был Месопотамией, президент царем, и Ахмадинежад Киром. То предложе-

ние было принято, после 70 лет плена 50 тысяч евреев вернулись в Обетованную Землю, и снова все пошло-поехало.

Когда Китай станет могучим, как Навуходоносор, а Израиль останется все тем же хутором между Средиземным и Красным морями, что предпримет могущественный владыка? Пошлет, как в детективном романе Беркли «Отравленные шоколадки», миллион коробок конфет с четвертью грамма нитроглицерина, впрыснутого в каждую? Но это уже было только что проделано со сводным кузеном Израиля Биробиджаном. В гораздо более устрашающем виде многотонного выброса в Амур китайской химии, неотвратимо катившегося к Еврейской автономной области. И что? Никакого эффекта: мы, сказал кузен, пьем только из артезианских колодцев, отвалите.

Просто сотрет с лица земли? А что, возможно. Хотя не очень похоже. Китайцы все-таки. Живут ради каких-то своих китайских целей. Это арабы о себе забывают, только и думают что о евреях. А китайцам в этой продутой хамсином территории какой прок? Больше, чем евреи, фиников не соберешь, помидоров не вырастишь, операций на открытом сердце не сделаешь. А так – пустыня, камни. Особенно если в твоей орбите уже есть такая роскошная Канада.

И потом, если оставить Израиль, как он есть, можно же показывать всему миру ту древнюю карту: вот смотрите, это мы, Поднебесная. Не подделка – видите, вон на ней Иудея, вон Иерусалим, Самария, Галилея. Все по-честному.

Восточные люди друг друга всегда поймут.

25–31 января

Иосиф Бродский умер 28 января 1996 года. За истекшее десятилетие степень его публичного признания, его калибр как поэта, масштаб фигуры, его репутация, место в русской культуре и в мировой почти не изменились. После получения в 1987 году Нобелевской премии все это установилось в том виде, какой сохраняется посейчас. Уже не первое поколение молодых поэтов проходит через влияние, а часто и прямое подражание его поэтической манере, – как поэты его поколения и отчасти он сам проходили через Пастернака. Статьи о нем и книги, анализ и трактовка творчества (с взаимоисключающими выводами), конференции, вечера памяти, журналистское цитирование, анекдоты о нем, посещение могилы в Венеции – эта сторона его посмертного существования приобрела постоянный и ровный характер, мало чем отличающийся от прижизненного. Даже для людей далеких от литературы он тот, которого преследовали власти, арестовали, на суде сказавший про свой дар «я думаю, это от Бога», сосланный на север, эмигрировавший в Штаты, ставший мировой знаменитостью. Что-то такое еще связанное с Ахматовой: она его совсем молодого выделила, чуть ли не передала лиру. Этого вполне довольно: в общем, так оно и есть, так оно и было.

Особых загадок его судьба не оставила – разве что два туманных «несобытия»: неприезд в Ленинград и неприезд в Израиль. Так сказать, на родину – и на «историческую родину». Ни того, ни другого объяснить не берусь, но рискну поделиться догадками. «Мы вас поселим в лучшей из наших вилл», – напирал мэр Собчак. Однако для Бродского люди, которые считают своими виллы, силой отобранные у реальных владельцев, были теми же самыми, которые считали, что имеют право не выпускать его родителей из Ленинграда на свидание с ним в Нью-Йорке. Приехать в город, где тебе заламывали руки и кидали на дно машины, где отца и мать приговорили умереть в одиночестве – и ни за что никогда внятно не попросили прощения, – трудно объяснимый акт.

Но это была не единственная, а может быть, и не главная причина. Поэт живет в том же измерении, что и все его современники, однако ось его пространства наклонена под иным углом, нежели общепринятая. Если выразить это максимально просто: все, включая поэта, видят звезды на ночном небе, а он слышит еще, как «звезда с звездой говорит». Поэт ощущает свою дистанцированность от других. Это не высокомерие, не взгляд свысока, это реальное качество поэта, которое в глазах публики выглядит загадочностью. А приехать в город, где ты был «Осыка», где и сейчас малознакомый, если не вовсе незнакомый, прохожий может остановить на улице и начать хвалить, ругать, а то и качать права, – тоже не совсем оправданное испытание. Ради чего? Друзей, с которыми расстался в 1972 году, можно было увидеть, когда они приезжали в Нью-Йорк. Увидеть Кресты, где сидел, – сомнительное удовольствие.

Что же касается Израиля, то там ты и вовсе голый. Скажем, приехал по чьему-то высокому приглашению, надел на себя английский костюм, французский галстук, медленно идешь по пустой в полдень улице, глазеешь на дома и деревья. Появляется кто-то движущийся навстречу, в момент сближения бросает на тебя короткий взгляд – в котором ты, бросив такой же на него, читаешь, что вот, идет аид прикинутый, как будто он лорд и у лорда в гостях, а на самом деле он – копия капли воды дядя Яша, а кто такой дядя Яша и какая ему цена, мы тут великолепно знаем. Иначе говоря, ты можешь столкнуться тут с почти двойниками. Тут уже живет поэт с таким же именем, как у тебя, и тридцать лет назад, в Ленинграде, вас уже путали. Тем более ты тоже картавишь. Тем более ты тоже рыжий, пусть бывший, но здесь это узнаётся. Короче, никакая ты уже не уникальная индивидуальность, а еврей, как все. Дистанцированность разрушается само собой, но еще до нее – самоидентификация. Ты начинаешь чувствовать себя непривычно, неестественно и неуютно, и на кой черт ради этого приезжать.

Исторической родиной Бродский, похоже, Израиль не ощущал (почему выше эти слова и взяты в кавычки). Еврейскость, еврейство занимает в его поэзии незначительное место и приходится на ранние годы. Стихотворение «Еврейское кладбище» – ожидаемого содержания – тривиально перечисляет: «юристы, торговцы, музыканты, революционеры». Пронзительны две строки из «Рождественского романа»: «Блуждает выговор еврейский / На желтой лестнице печальной». Поэма «Исаак и Авраам» гипнотизирует библейской внушительностью, лингвистической дерзостью и выходом в современность. Прибавим сюда макаронические «Два часа в резервуаре», где рифмы типа «шпацирен-официрен» напоминают скорей идиш сестер Берри, чем дочке Гете.

Но, близко зная его с 19 лет и до конца жизни, свидетельствую, что он любил родительский дом, был верен родне и семейному укладу. Что антисемитизм всегда вызывал в нем мгновенный нерассуждающий отпор. Что он никогда не разыгрывал из себя ассимилированного или эмансипированного еврея. Другое дело, что он был им. В шуточных стихах другу, извиняющихся и сокрушающихся по поводу пропущенного дня рождения, четко расставлены вкусовые – и проглядывающие за ними культурные – вкусы и приоритеты: «Теперь мне пищей, вне сомнений, / одна маца. / Ни шашлыка мне, ни пельменей, / ни холодца». Он родился с еврейской психикой, но человеком был культуры христианской. В Израиле на это противоречие реагируют обостренно, так сказать, на генетическом уровне. Еврею христианской культуры, приезжающему извне, трудно освоиться в еврейском Иерусалиме.

Можно предположить, что Бродский знал все и про Ленинград, и про Израиль. И рассматривал это как веский довод против поездок. Он хотел, чтобы ни кровь, ни мысль не делала его зависимым – все равно от бывших согорожан или от соплеменников. От всех считавших, что могут заявить на него права.

15–21 февраля

Сериал «В круге первом» – из ряда вон выходящий сразу в нескольких планах. Все равно, в каком порядке их перечислять.

Он выходит вон из ряда сериалов так называемых серьезных. Это не «Мастер и Маргарита», решенный в эстетике театральности и по самой своей ткани, сплетенной из мягкой сатиры и фэнтези вперемежку с печальной драмой, никакого другого решения и не предполагающий. Это и не обосновавшийся органично в культурно-исторической плоскости «Идиот» – наше внеклассное чтение. И не «Золотой теленок» – справочник и инструктаж по методике острословия... «В круге» – при всей своей художественности, хорошей или плохой (в целом скорее хорошей, чем наоборот), нацелен на документальность, то есть: *так* потому, что так *было*, а не потому, что сценарист придумал. Мы не то чтобы верим режиссеру Панфилову, а – доверяем. Но в ту самую меру, как когда верим.

Он выходит из ряда потому, что половина, а то и больше, зрителей помнит, как, в каких обстоятельствах, в какое время этот роман ими читался и какое впечатление произвел. Какой экземпляр машинописи им тогда попался. Или в каком переплете, какого размера книжка, изданная «ИМКА-Пресс». Как и куда это прятали, у кого брали, кому передавали, как боялись, что застукают. Они автоматически отмечают, чем *не* совпадает нынешнее впечатление с тем давним; чем то было значительнее, пронзительнее, свежее нынешнего (едва ли наоборот, хотя бы потому, что едва ли их нынешний возраст предпочтительней того молодого).

А еще по той причине «Круг» стоит особняком, что какая-то часть зрителей помнит и время действия фильма. Может быть, не обязательно 1949 год, но тот послевоенный нищий быт, необъяснимо угрюмое настроение, давление атмосферного столба. А оказывается вон еще как оно было. Вон что творилось в получасе автобусной езды, в усадьбе на тогдашней окраине Москвы. В высотке на Котельнической набережной. На Лубянке. В Кремле. Мы этого тогда не знали, не могли знать. А вот студенческое общежитие каким-то боком было нам знакомо. Внутренность зимнего автобуса – очень даже знакома, кожей и сейчас ощущается.

Еще один план – сопоставление той действительности с сегодняшней. Не авторами навязанное, а приходящее на ум само собой. Насколько возможно *такое* сейчас? Насколько мы – они, *те*? И какие те: зэки или конвой? В какой степени мы-они готовы капитулировать – или, наоборот, какая мера нашего сегодняшнего мужества? И даже захоти мы не думать об этом, ничего не получится, когда на экране сразу вслед за очередной серией начинается фильм «БН», о Ельцыне, и это фильм о том же: чего мы стоим в крайних ситуациях?

И наконец, это нечто совсем, совсем другое, нежели общая масса сериалов, даже лучших. Прежде всего потому, что книга другая. Она утратила масштаб поступка, которым являлась 40 лет назад, но тем явственней обнаружил себя масштаб ухваченных ею смыслов. По сравнению с той литературой, к которой принадлежит этот роман, новая, молодая как будто специально пишется (а возможно – как будто специально ее сочинители задуманы) так, чтобы быстро – а точнее, сразу – забываться. Как продукты, на упаковке которых обязательно должен стоять срок годности, и это всегда – сегодняшнее число. Как башмаки, которые, покупая, знаешь, что на сезон. Даже не потому, что такие не понесешь, если что, чинить к сапожнику. А потому, что на следующий сезон они станут знаком того, что твои дела пошли хуже, раз ты не покупаешь новые.

Нарекания на фильм сводятся, в основном, к простым, не лишенным оснований констатациям: то-то, то-то и то-то – не достоверно. Мол, чиновник МИДа не мог знать государственной тайны такого уровня и уж во всяком случае не мог произнести ее по телефону: он был бы разъединен немедленно – чекистом, сидящим на входных-выходных звонках в иностранное, в особенности американское, посольство. Ну да, ну да. Но это все-таки не протокол из секрет-

ных архивов МВД, инсценированный для придания ему живости. Это роман, это литература и искусство. Еще менее вероятно, например, что статуя Командора может сдвинуться с места и явиться к Дон Жуану. Как сыграть. Певцов играет так, что вопроса о подлинности происходящего не встает.

Таких дорогих и элегантных шубок и платьев у девушек, живущих в общежитии, тогда не было. Но сцена построена Панфиловым так, что мы видим не пятерых советских аспирантов в комнате, а пятерых молодых актрис, которые *играют*: играют *образы* девушек. Без утомительного, сиюминутного, мелочного, вульгарного правдоподобия, а как каких-нибудь, предположим, тургеневских – только прочитавших уже и Достоевского, и – чудом – «Архипелаг ГУЛаг».

Выражают недовольство также тем, что всё монологи, диалоги, а где действие? Опять скажу: ну да. Отличается от беглости реплик в постановках, наших и ненаших, уверенно господствующих на экране. От споров, перепалок, подначек, насмешек, в которых каждая следующая стирает предыдущую. В «Круге» они другого удельного веса, они написаны писателем, у которого нет бутафорских слов. В самом их звуке что-то, что важно услышать. Панфилову позавидуешь, что у него такой сценарист. Панфилову не позавидуешь, потому что с таким сценаристом нельзя снять ничего проходного или импрессионистического. Все должно быть без обмана: снег – белый, лица – чистые, фигуры – крупные. Слова – Солженицына.

Еще того, сорокалетнего, могучего, невероятного. Которым интересовались не как сейчас: те, кому он интересен, – а все. От генсека КПСС до бомжа. Потому что им нельзя было не интересоваться. Он входил в жизнь каждого, не спрашивая согласия. Говорил, как Лютер: «На том я стою и не могу иначе». И важно было не «я» и не «на том», как стало впоследствии, а «стою!». Исключительно важно. И отзвук этого «стою!» слышен в речах нынешнего сериала.

1–7 марта

50 лет назад, в конце февраля 1956 года, Никита Хрущев прочел на XX съезде КПСС немыслимый доклад, который сразу стало принято называть «разоблачающим культ личности». Попросту же – злодейства Сталина. А точнее, систему власти, не только располагающую к этим злодействам, а исключительно через них функционирующую.

Немыслимым доклад был, в первую очередь, потому, что этот, по бессмертному слову поэта, «сброд тонкошеих вождей», «полулюди», из которых «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет», второстепенные даже по отношению к нравственно и интеллектуально убогому главарю, на такое все-таки решились. А во-вторых, по величине пережитого людьми страдания, поданного докладчиком в прожигающей душу и рассудок концентрации.

До граждан, сперва партийных, потом комсомольцев, потом чуть ли не всех, текст доклада, сколько-то ужатый цензурой, дошел в виде брошюрки уже весной. Объявлялась дата публичного чтения, человек из парткома выбирал из сидевшей перед ним аудитории чтеца, с мрачно-государственным выражением лица вручал брошюрку, по окончании забирал и уносил с собой, публика расходилась. В Технологическом институте, где я учился, читать на нашем курсе – не знаю, как выразиться: «поручили» «доверили» – мне. По какой причине, не сообщу: из-за ясной дикции, из-за беглости речи, из-за моего сильного внутреннего желания видеть эти слова своими глазами. Или из-за репутации сомнительно советского студента, позволившего себе вольности еще до всякого доклада, то есть единственный раз в жизни как бы попавшего в струю.

Честно говоря, событие меня не перевернуло. Мне было неполных 17, когда умер Сталин, – и вот это было событие! После него и после быстро следовавших одна за другой политических перемен появилась к такому ходу вещей привычка. У переживающего юность создавалось впечатление, что только так и должно быть. Свобода – ну да, естественно. Перемены – а как же иначе. Юности, и только ей, свойственна бесшабашность, безоглядность, «беспастушность», как говорила Ахматова. Мы – та небольшая компания, в которую я входил, – писали стихи, мы только начинали, но уже почувствовали, что это такое – поэзия, которая сама есть непререкаемая власть, и безграничная свобода, и могущественная защита для живущих ею. Неужели же нам было оглядываться на то, что в данную минуту разрешено и что запрещено! Думаю, мы бы вели себя так же и при Сталине, и, вероятно, были бы наказаны, а то и погибли. Но судьба пошла нам навстречу, и наши, как это именовалось старшими, «фокусы» обошлись нам сравнительно малой кровью. Даже с учетом ареста, суда и ссылки Бродского.

Это пишется через 50 лет после тех дней, но не «задним числом». Именно так мы те дни проживали, именно так, отчужденно по отношению к власти, себя чувствовали и вели. Ее давление, нависавшее наподобие низких потолков квартирок, которые она тогда начала строить, воспринималось как условие существования. Заданное природой мира, в котором мы оказались. Довольно гнусное, всецело отталкивающее, но не настолько интересное, чтобы тратить на него сердечные и умственные силы. Не подлежащее исправлению, во всяком случае, радикальному. Что-то вроде хронической болезни: унизительно, терпимо, в конце концов привычно.

Разумеется, мы были на стороне диссидентов, сами в свою меру диссиденты, имели близких друзей среди диссидентов *настоящих*: избиваемых, обыскиваемых, отправляемых в тюрьму и ссылку. Но диктовалось это тем же, что и все прочие стороны жизни: душевной склонностью, моральным комплексом, эстетическим вкусом. Политика – дело общее, партийное, корпоративное, для нас же смысл имело только то, что является *личным*. Бродский любил повторять: у политики с поэзией общего только «п» и «о». Смерть Сталина была переживанием личным, доклад Хрущева – политикой.

Смерть, объявленная 5 марта 1953 года, имела вполне конкретное, непосредственное отношение к моей семье. Мать была врачом-педиатром и не раз подвергалась выпадам агрессивного подозрения и недоверия родителей тех детей, которых лечила. Дело еврейских «убийц в белых халатах» в последние месяцы жизни генералиссимуса сделалось неизмеримо важнее выплавки стали и борьбы за мир. Мало кто сомневался, что эшелоны теплушек, формируемые для отправки евреев в Сибирь, – реальность, а не слухи. Со времени расстрелов рижского гетто, когда погибла многочисленная семья матери, прошло всего десятилетие. Конечно, Аушвиц Иосифу было не переплюнуть, но как дань памяти возлюбленному Адольфу – годилось. Так что эта смерть пришла в наш дом объявлением помилования. И – как ко всем остальным двумстам миллионов граждан СССР – объявлением о конце эпохи официально палаческой, программного истребления нации, культуры, цивилизации. Хрущевская и брежневская проторенной ею дороги не бросали, но это была уже эпоха вурдалаков – не людоедов.

Годовщины этого дня не забывались в том кругу, к которому я принадлежал. 5 марта 1963 года Ахматова пригласила меня и Бродского отметить десятилетнюю дату. Мы пили коньяк, тостов не произносилось, мы просто разговаривали. В этом и заключалось единственное содержание вечера: что мы выжили – особенно, чудесным образом, она. Что мы сидим за столом и своим голосом говорим то, что хотим говорить.

Через три года, день в день, она умерла. И это тоже был конец эпохи – культурной. Начавшейся – не знаю, с кого: с Карамзина, с Екатерины. Передававшейся из поколения в поколение, развивавшейся каждым из них. Дожившей до Столыпина и Мандельштама. До нее, Ахматовой. Она оказалась последней такого масштаба фигурой этой культуры. Солженицын был соизмеримого калибра, но совершенно иного состава – уже советской эпохи.

Тринадцать лет, между смертью мясника и смертью поэта, стали рубежом в истории России, и не только России XX века. Стране дали отдышаться, прийти в человеческий вид – чтобы было чему умереть, как должно умирать все на свете: с величием, а не как скот. В данном случае – как должна умирать Большая История большой страны.

15–21 марта

Мы включаем телевизор, чтобы посмотреть вечерние новости, и Хамас входит в наш дом. В мой – гражданина не Израиля, который он, Хамас, обещал стереть с лица земли и в свою меру в этом преуспел, а Российской Федерации. Но и мне, мягко говоря, неуютно, я не люблю смотреть на террористов и убийц. Можно, конечно, выключить, но он приезжает в мою страну, я – один из хозяев, я должен знать, кого принимаю.

Он весьма симпатичен внешне, умен, обаятелен. (Особенно на фоне, например, Березовского, чья фотография выбрана для следующего новостного сюжета таким образом, что до мелких деталей совпадает с изображением одного из тех пяти «еврейских типов лица», которые вывешивались в Берлине при Гитлере.) Израиль, как известно, всегда проигрывает пропагандистскую войну Палестине – как, впрочем, и Россия Чечне. Интервью с Халедом Машалем не исключение. Его спокойствие, его расположенность, его уверенность в будущем, его религиозность подкупают, с ним хочется иметь дело. Конечно, он не собирается уничтожать Израиль. При условии, что тот уйдет с «захваченных территорий» и из «восточного Иерусалима». (То есть уничтожит себя сам.) Вопрос: а вот вчера в Палестине прошла демонстрация за скорейшее его уничтожение, видите, транспаранты соответствующие, это как? Ответ: это дело рук Израиля, провокация. (Со школы помним: наврала унтер-офицерша, что ее высекли, – она сама себя высекла.)

Я вспомнил статью о Шароне в недавнем «Нью-Йоркере», после передачи нашел. Кусок из интервью с ним. «Что беспокоит меня в [наших] миролюбях, это их ненависть к поселенцам и неумеренная вера в арабов. По всей видимости, они никогда не получали телефонных звонков, которые я получал от матери, когда вел переговоры в Египте в 1980-м. Мать, которой было тогда восемьдесят, звонила мне в Каир и рассказывала, какой у нее сегодня урожай с нашего поля и какой она думает собрать завтра. И всегда она кончала одной и той же фразой: «Арик, не верь им». В стране она жила много лет, но говорила с тяжелым русским акцентом. И я очень ясно помню ее, говорящую мне с тяжелым русским акцентом: «Арик, не верь им»».

И другой яркий эпизод всплывает в памяти – тайная поездка Голды Меир на встречу с иорданским королем Абдаллой, крайне рискованная. Когда беседа окончилась и вдвоем с устроившим эту встречу израильтянином они возвращались к спрятанной в темноте машине, она сказала, что удовлетворена обещаниями короля, как и переговорами в целом. На что спутник, чуть не всю жизнь проработавший с арабами, ответил, что обещания в самом деле неплохи, но на практике они мало чего стоят. Не обязательно даже по причине хитрости и коварства, а, возможно, просто потому, что таков принятый в этом краю этикет: говорить гостю то, что ему приятно слышать. Что и подтвердилось в самом скором времени.

Едва ли мама позвонит кому-нибудь из наших переговорщиков с Хамасом. Едва ли это вообще нужно: все они знают цену арабским обещаниям не хуже собеседника Голды Меир и ведут переговоры не ради них. Но есть во всей этой истории с приглашением нечто большее, чем удача или неудача переговоров. *Эти люди*, по сравнению с которыми Басаев – мальчик с самодельной рогаткой, здесь, в каждом доме.

Перед Хамасом прошел сюжет об иранских атомных делах. В привлекательности иранская делегация уступает палестинской, зато Али Лариджани уверенней в себе. Русские предложения обогащать уран очень интересные, мы их рассматриваем. Сколько продлится рассмотрение? Сколько вы протерпите, столько и продлится. Тысяча и одна ночь. У нас причин торопиться, как видите, нет.

А вот как раз и отец Анастасий в Тегеран приехал. На товарищеский коллоквиум с мусульманством. Прежде чем приступить к торжественной части, осудите-ка, отец Анастасий, датские карикатуры. Уже... (достаёт привезенный с собой текст осуждения). Тогда подтвердим

товарищество: у нас в конце света солнце взойдет на западе, а у вас? И у нас: солнце померкнет, и луна не даст света своего – в общем, то же самое. Рукопожатия.

Новостью же на завтрак было предвыборное выступление Лукашенко. Они мне, когда со мной на лыжах катались, пиво открывали – «фигуры». Это о других кандидатах на пост президента Беларуси. Умеренный восторг аудитории – как говорится, «смех в зале». (Они открывали, а вы, стало быть, у них брали и выпивали.)

Последний репортаж – возрождение музея Ленина. Директор музея, жена футболиста Колоскова: как тяжело было видеть, когда в 1991 году, после отхода танков, люди стали валить исторические памятники! (Советского режима.) Вот здесь у нас воссоздан письменный стол Владимира Ильича, за которым он писал свои произведения. (За которым он писал: «сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города... провести беспощадный массовый террор».) Вокруг исторические памятники, которые сохранились: голова В. И., выструганная в Японии, еще одна – на Мадагаскаре. А эта чья? Иосифа Виссарионовича – без объяснений. Интервью дает один из посетителей: это, конечно, только одна сторона истории, была еще, так сказать, и гражданская война, и все прочее.

Постарались ли авторы этой телевизионной программы на канале НТВ 2 марта 2006 года, или само так получилось, но вся она оказалась на одну тему и выстроилась чуть ли не художественно. Кульминации достигает в самарском убийстве. Молодчики, шантажируя свидетеля преступления, концы которого они намерены спрятать, заставляют его отрубить голову у пойманных ими случайных таджиков и снимают это на видео...

Итак: избиение минскими стражами правопорядка соперника Лукашенко; мусульманская атомная бомба; террористы Хамаса; «красный террор» Ильича – и вот она, реально отрубленная топором голова.

Название темы – тотальная капитуляция. Года два назад этот самый канал закрыл одну из самых востребованных программ, «Намедни», и уволил ее ведущего, одного из самых талантливых, Леонида Парфенова. За то, что тот показал интервью с вдовой взорванного в Кувейте нашими агентами Яндарбиева, который по нашим ведомостям шел как террорист. Даже вдову нельзя было показывать. Машаала сейчас можно.

29 марта – 4 апреля

В большом очерке Солженицына «Наши плюралисты», изданном в 1983 году и впоследствии не раз перепечатанном (в последний раз чуть больше года назад), есть пассаж, остановивший мое внимание: «... их [плюралистов] предшественники и отцы спокойно пропустили тотальное уничтожение еще ленинских лет, тотальное вымирание Поволжья, потом геноцидную коллективизацию, голод на Украине, на Кубани, послевоенные потоки ГУЛага (только заметили вовремя партийные чистки 37-го года, «космополитов» и «дело врачей»)...

То, что в скобках, горько иронически противопоставляется своей мелкостью грандиозности перечисленных перед этим истребительных процессов. Это так и есть, не поспоришь. И, однако, три-четыре замечания все-таки хочется сделать.

1) Сопоставление партийных чисток с антикосмополитской кампанией и делом врачей не вполне корректно. Как смешивание в одно грызни внутри волчьей стаи и нападение этой стаи на овчарню. В таком объединении слышен намек на общность между теми и другими жертвами, и, мол, потому их и «заметили», что «их» коснулось.

2) О каких «предшественниках и отцах» идет речь и относится ли к ним Осип Мандельштам, затруднительно сказать, но именно он оказался единственным из больших поэтов, кто напрямую хотя бы упомянул о крестьянской катастрофе *в то самое время*. «Природа своего не узнает лица, / И тени страшные – Украины, Кубани... / На войлочной земле голодные крестьяне / Калитку стерегут, не трогая кольца».

3) Масштаб репрессий против космополитов и врачей – мельче-то он мельче, но, как сказано в стихотворении Бориса Слуцкого о лошадях, утонувших в океане после кораблекрушения: «Вот и всё. А все-таки мне жаль их, / Рыжих, не увидевших земли».

4) И, наконец, одна из причин, почему космополитов и врачей «заметили». Потому, что подавляющее большинство их были евреи, и уничтожали их не как крестьян, или интеллигенцию, или военных, или калмыков и так далее – по случаю Ленина-Сталина и советской власти. А как евреев – то есть «опять». Как на протяжении трех с половиной тысяч лет – и как всего лишь за несколько лет до того во время Холокоста. А холокостовский масштаб – он уже не мельче, правда?

И в связи с этим, с тем, что евреев «замечают», вот что напрашивается предложить на рассмотрение. Не чувствует ли человечество интуитивно, что то, что происходит с евреями, касается его в целом? Возможно, в силу библейской истории, общей для большей его части. Возможно, по опыту самого последнего времени – XIX и XX столетий.

...В каком-то смысле ответ на этот вопрос дает книга Имре Кертеса «Самоликвидация», вышедшая месяц назад в русском переводе.

Напомню, что автор, будапештский еврей, подростком был угнан в Освенцим и, уже умирая, уже агонизируя, чудом выжил. В 2002 году он стал нобелевским лауреатом – через 32 года после Солженицына.

Главный герой «Самоликвидации», писатель Б., в Освенциме – рождается. Событие это – получение *жизни* в лагере *смерти* – он называет «омерзительной историей»: «В механизм по переработке трупов попала песчинка».

Основной принцип жизни, утверждает он, – Зло. Добро можно творить только ценой жизни того, кто его творит.

Всех людей нового времени – то есть всех нас – он относит к новому, максимально упрощенному подвиду человека, а именно: к *человеку выжившему*. Не только в качестве жертвы концлагерного истребления, через которое – по крайней мере, психологически – прошло все человечество. Но и как гражданина стран, попавших под тоталитарные режимы. Персонаж, во время войны вселенный в квартиру, которую прежде занимали евреи, боится, что они вер-

нутя, и наконец облегченно вздыхает: «*К счастью*, их истребили всех до единого. Таково оно, наше венгерское счастье». Человек он отнюдь не злой, напротив, вызывающий сочувствие.

То есть: мы живем в эпоху всеобщей катастрофы, каждый человек носит катастрофу в себе. Государство, диктатура затягивает в себя, как смерч, домом становится хаос, а мы – существами, в прямом смысле слова, *пропащими*. То есть способными, даже не будучи злыми по природе, на любое злодейство.

Единственное оставшееся в мире подлинное искусство – искусство убийства. Жизнь – поюсторонний лагерь смерти. Мир, в котором мы живем, мир убийц, но мы стараемся устроиться в нем со всеми удобствами.

Знание всего этого обладает невероятными разрушительными силами. Поэтому, говорит Б., «я должен исчезнуть из этого мира вместе со всем, что я ношу в себе, как чуму». И кончает с собой.

Логика этих выкладок внушительна так, как логика романа «Процесс», написанного столетием раньше. Впечатление, что Кертес единственно с Кафкой и разговаривает. На его языке. Обладая тем же духовным опытом.

Бывшая жена Б. рассказывает своему новому мужу, умнице и интеллигенту, как Б., когда она захотела от него ребенка, не мог ей этого простить. Почему, спрашивает муж. «Из-за Освенцима».

Освенцим, пытается она объяснить, своего рода пароль. Он открывает дорогу другим ужасным словам. *Освенцим. Убили. Погиб. Пропал. Выжил*. Б. любил повторять: «Те, кто сам был там, тоже не знают Освенцим. Освенцим – другая планета, и у нас, жителей планеты Земля, нет ключа, чтобы расшифровать тайный знак, состоящий из слова «Освенцим»». Б., говорит его бывшая жена, хотел уловить сущность Освенцима через свою собственную жизнь, в себе: «и разрушительные силы, и потребность выживания, и механизм приспособления. Так лекари в старые времена вводили себе яд, чтобы на самих себе изучать его действие». Убивая себя, он «аннулирует» Освенцим.

Об Освенциме ничего не знаешь ни ты, ни я, – в конце мучительного разговора подводит итог муж, венгр без примеси еврейской крови. «Не равняй себя со мной, – отвечает она. – Я еврейка». «Все мы – евреи», – завершает он.

Ну как этого не «заметить»?

12–25 апреля

Мы с женой потомки южан, племени, испокон веку жившего между Красным и Средиземным морями. У нас по солнцу особая тоска, по теплу, по свету. А живем 6–7 месяцев из 12 в холоде и темноте. Кому я рассказываю? сами знаете. Ну, и ловчим зиму хоть на две недели в начале, на две в конце обмануть: по какому-нибудь поводу, более или менее придуманному, куда-то, где еще или уже не она, махнуть. В этом году подвернулась Италия. Решено было в середине марта улететь, дней на десять, и вернуться пусть не в весну, но хоть не в зиму.

Рим нам город не чужой, наезжали в него при случае в последнюю пару десятилетий, я в тамошних университетах даже попреподавал малость. Друзей имеем сорокалетней давности. Маршруты автобусов знаем. Знаем, что первым делом надо купить недельный билет и разъезжать в свое удовольствие с неслыханной выгодой для кошелька. Знаем даже, что с Париоли, где обычно останавливаемся, до центральной виа Венето лучше пройти напрямую через Виллу Боргезе, чем ждать автобуса и потом на нем крутить.

На этот раз и в Риме весна припоздала, днем градусов 12–14, листья на неувечнозеленых только-только появились. Но миндаль, как полагается, стоял в полном цвету, травка выросла высотой в ладонь, маргаритки и фиалки – полянами. Настроение подогревалось футболом: «Ювентус» забил два гола, сам отстоял на ноль, чем, сообщали по телевизору, – это было понятно без перевода – «упрочил лидирующее положение». 21 марта в Италии официальное начало весны, и, действительно, солнце наконец стало припекать, ходили кто в пиджаке, кто в рубашке. Голуби, скворцы, чайки, утки мотались туда-сюда без признаков птичьего гриппа. Я риторически спросил Бога, почему одним достается это, а другим всё, кроме этого. Почему итальянцы приватизировали небесную голубизну, а мы лишь такое очарование очей, как унылая пора? У меня, допустим, была возможность переехать в Америку – где летом можно жить только внутри кондиционера, а в остальное время судиться с соседом, поскользнувшимся возле твоего крыльца. Или в Израиль – где дует хамсин и трава зелена две недели в году. А у этих слева море, справа море, спереди и сзади виноградники, горы и долины. И даже корпулентный Гоголь работы Церетели и исключительно невзрачный Пушкин Орехова не портят вида – почему, Господи?!..

На всех углах, в витринах, на уличных щитах и автобусах красовалась реклама джинсов «Труссарди»: две физиономии, девица и парень, на удивление малопривлекательные. Если к чему они и призывали, то ни в коем случае джинсов «Труссарди» не покупать. На это потенциальный покупатель и ловился: раз фирме настолько на него наплевать, то уж, наверное, ей есть отчего быть такой уверенной. Может, джинсы как джинсы, но какие-нибудь под ними этикие *труссарди* – в этом фишка?

Толпа на улице разглядывала витрины Гуччи, Валентино и Армани, в которых висело по одному скромному платьицу невиданной красоты и баснословной цены. Однако носить предпочитала легкие стеганные камзолы из универмага «Упим». Туристы, как во всем мире, выглядели по-американски: с рюкзаком за спиной и цифровым фотоаппаратом в вытянутой руке. В который, а отнюдь не вокруг, они и смотрели. Богатые от прибеднявшихся отличались большими черными бумажными сумками с именами дорогих фирм. Наши по этому показателю никому не проигрывали, наоборот, нагружались по максимуму и орали «эй, такси». Но в целом вели себя по-заграничному – кроме одного, который трубно втянул соплю и смачно харкнул на панель, и это тоже было понятно без перевода.

Новым за последние 5 лет оказалось, что в собор Святого Петра и конкретно к «Пиете» Микельанджело теперь нельзя попасть, не оттолкавшись добрых полчаса в тесной очереди, ведущей к металлоискателю. А также, что русская церковь, в которую прежде ходила дюжина престарелых внуков русских аристократов и дюжина эфиопов, набита битком молдаванами и

украинцами, приехавшими делать римлянам евроремонт. Все остальное, включая Колизей и ряженных преторианцев, готовых за плату фотографироваться с желающими, не изменилось совсем, и у меня впервые закралось подозрение, не спроектировали ли Ромул, Рем и их кормилица этот город как «вечный» с самого начала.

В этот раз я наконец попал на кладбище возле пирамиды Честиа, к могилам Шелли и Китса. Оно называется «акатолико», то есть для некатоликов. Нашел участок русских с могилой Вячеслава Иванова и неподалеку – физика Понтекорво, таинственно поработавшего на советскую атомную промышленность. Живых, кроме меня, было еще две-три фигуры, призрачно возникавшие между деревьями. Я остановился у камня семьи неких Фишеров: над именем старшего, Энрико, был выбит могоендовид, над следующим, Рикардо, крест. Послышались шаги, голос сказал, по-итальянски: «Возможно, дядя и племянник». Я обернулся: мужчина моих лет. «Почему вы так думаете?» – «По датам их жизней. Вы француз?» – «Русский». – «О?! – Засмеялся. – Я не знаю русского языка». Заговорили по-английски.

Он оказался врачом: «Иногда захожу после работы, клиника рядом». По радио объявили, что кладбище закрывается, мы вместе вышли. Он спросил, в какую мне сторону. «Трастевере? Я живу напротив – хотите пешком? – Несколько секунд поколебавшись, прибавил: – Я живу в Гетто». У «четырёхголового» мостика надо было расставаться, он предложил выпить в баре кофе. Показал вмурованную у дверей античную плитку с семисвечником и другую, с звездой Давида. Я завел свою панегирическую песню райскому краю, доставшемуся от Творца итальянцам, где «мирт и лавр, и апельсин златой», и как счастливы родившиеся здесь... «Не всегда, – сказал он. – Мальчиком меня увезли в горы. От депортации в Германию. Меня прятала крестьянская семья. После войны я продолжал к ним ездить. В конце концов женился на дочке хозяина, ровеснице. Ничего хорошего не получилось. Уж не знаю, почему. Не хочу про это говорить. Может быть, потому, что когда спасаешься, ничего хорошего не получается».

26 апреля – 2 мая

Еврейский вопрос... Одно из бесчисленных его произрастаний я наблюдал в сравнительно юном возрасте. Зарождение, первый побег, расцвет, колошение.

По правде сказать, не совсем юном, лет в 25. Но в каких-то отчетах – литературных, административных, осведомительских – моя фамилия перечислялась с постоянной присказкой «молодой поэт, начинающий прозаик». И это выглядело в высшей степени убедительно на фоне 50-летних, считавшихся тоже «молодыми начинающими». Так или иначе в альманахе «Молодой Ленинград» опубликовали мой рассказ и заплатили гонорар. В конце финансового года бухгалтерия обнаружила – или решила, – что переплатила, и прислала на фирменном бланке издательства письмо. Немедленно вернуть излишек, а именно 60 рублей. Не таков был тогда мой бюджет, чтобы возвращать хоть рубль, и я их суровую требовательность проигнорировал.

В конце следующего финансового года тон смягчился. Новое письмо «предлагало» по возможности быстрее вернуть переплату. Еще через год – «напоминало» и «просило». Потом год или два я ничего не получал. Потом пришло письмо с просьбой отрецензировать присланную в издательство рукопись, по такой-то цене за печатный лист. Как нельзя более кстати.

Рукопись оказалась романом о геологах – удручающе скучным, беспомощным, соцреалистическим. Где-то на тридцатой странице появился отрицательный герой. Начальник отдела Гипрогора. Он тормозил, воровал идеи, строил каверзы, склонял к блуду белокурую геодезистку, невесту геофизика Василия. Подменял в денежных документах камеральные расходы полевыми – чтобы, и без того владея дачей, квартирой, машиной, приобретенными нечестно, еще больше разбогатеть. Он был неопрятный, с мокрыми губами, торопливой речью. Его фамилия была Гринберг. Повествование оживилось. Несколько страниц – немного больше, чем требовалось для развития главной сюжетной линии, – было написано со страстью. Затем ручки фабулы втекли в прежнюю заводь, действие снова впало в кому, персонажи стали похожи на рюкзаки, которые они на себе таскали.

Видимо, опомнившись и почувствовав, что с Гринбергом перебрал, а пожалуй, и посягнул на основы советской национальной политики равноправия всех племен, включая и еврейское, автор решил привести чаши весов в равновесие. Через двадцать страниц в экспедицию прилетел Гинзбург. Молодой, сильный, белозубый, полный грандиозных рабочих замыслов, враг бюрократии вообще и Гринберга в частности. Спасаящий от обвала, от оползня, от медведя, водопада, бури. Отдающий последние деньги сибирской старухе-крестьянке на покупку козы. Взваливающий поверх своего рюкзака еще и рюкзак белокурой геодезистки, подвернувшей ногу. Доставляющий ее таежными тропами к палатке Василия – от греха подальше. Короче, хороший еврей. Прекрасный.

Несколько даже чересчур. Прекраснее, может, самого Василия. Стрелку весов задрало в другую сторону. В начале 80-х страниц в расположение экспедиции прибыл Гуревич, аспирант из Тюмени, выпускник здешнего горного института. Плохой. С крючковатым носом. Не такой сукин сын, как Гринберг, но тоже держи ухо востро. Карьерист. Подхалим. В аспирантуру попавший по благу, потому что в родстве с кем надо. Как *они* все. К тому же нечистый на руку.

К странице 110-й из Красноярска добрался на попутках и на своих двоих Гольдфарб, десятиклассник. С младенчества бредящий геологической романтикой, не представляющий, как жить без открытия месторождений. Как жить ему – и стране. Бессребреник. Чистый, как голубь. Отказывающийся от каши, чтобы кого не объесть, питающийся ягодами и попавшей в самодельные силки птиц. (Все-таки сети, сионист, на наших голубей ставил.) В конце рабочего сезона при расставании всплакнувший.

На 150-й на вечеринку, устроенную уже в Ленинграде всей честной компанией, то есть участниками экспедиции плюс вообще сослуживцами, пришел... Я был захвачен, заинтриго-

ван, я ждал, кто будет следующий, хватит ли у автора этой братии на букву «г»... Горфункель! Снабженец. Наконец-то. А то всё вокруг да около. *Их* ведь к сбыту-снабжению тянет – то-сё, гешефт. Вспомнили: спальников обещал чешских – не дослал, спали в б/у.

И так далее. Всё новые и новые, как тонко острили в те времена, «французы» прибывали, по одному на три-четыре десятка страниц. Каждый следующий исправлял предыдущего: хороший (самодельный бард с гитарой) плохого (маркшейдера), плохой нефтяник – хорошего начальника автоколонны. Автор уже соскочил с «г», в ход шли Шапиры, Шраеры. Бард Левин пел «я не дежурный при костре, а часовой я при горе», маркшейдер Кац сомнительно шутил, с подначкой. (Все – только по фамилиям, персонажи титульной национальности – по именам.) К концу добрая дюжина евреев топталась на опустелых романских просторах. На задний план отодвинулись производственные вопросы, трудовая самоотдача, противостояние природным стихиям, грань между риском и техникой безопасности. Отношение Оксаны к Василию и Василия к ней застряли на полупризнании чувств, оба как-то ни бе, ни ме.

Я написал рецензию. Не похвалил... Впоследствии эта история несколько раз приходила на память. В ней была заложена схема, по которой действует вся механика антисемитизма. Кто-то объявляет, что евреи – плохие, приводит неопровержимые примеры. Следующий – что нельзя так огульно, есть, «как среди всех народов», хорошие, даже очень, например, его близкий друг Яков Моисеевич. Третий Моисеича не признает. И так далее. Действие не движется; кто был геологом, забыл, что такое молоток; кто писателем – из чего делают чернила.

Мне выписали гонорар – 65 рублей, на руки выдали пятерку. 60 удержали как долг – о котором я, дурачок, увлекшись еврейской кадрилию, забыл.

24–30 мая

Я огорчен. Если принять во внимание возраст, с этим огорчением я и покину свет. Покину этот глобус, и сложившееся на нем положение вещей, и государство, изрядно поставившееся поставить вещи именно в такое положение. Гражданином его я прожил свою жизнь – лишенный какой-либо возможности влиять на его внешнеполитические демарши. Каковые и являются причиной моего окончательного огорчения.

На внутривнутриполитические я, как легко догадаться, тоже не влиял. Но с этими было проще, поскольку их целью был я сам и по этой причине обладал правом не принимать их в расчет так же, как они не принимали в расчет меня. Государство не интересовалось мыслями, которыми я бывал захвачен, глумилось над книгами, которые я читал, гнушалось моим образом жизни, отправляло моих друзей в концлагеря, унижало людей моей крови. В ответ я жил, как если бы никакого государства не было, а были только мои мысли, книги и друзья. Меня окружала страна, к которой я был привязан, и язык, составлявший самое существо моей жизни. А то, что во мне течет эта, а не другая кровь, сперва вообще меня не занимало. Но под воздействием целенаправленной враждебности к моим соплеменникам сделалось предметом моей, не скажу центральной, однако не покидающей меня сосредоточенности. В те времена это называлось внутренней эмиграция. Честно говоря, в этом статусе я пребываю и сейчас.

Жало моего огорчения – иранская бомба. Конкретно позиция, политика – в данном случае это понятия тождественные – по отношению к ней тех, кто управляет моим государством. Бомжу ясно, что в дополнительных источниках энергии страна, сидящая на самом большом в мире резервуаре самой лучшей нефти, не нуждается. Еще прежде этого ему ясно, что Иран не Индия, не Китай и не Израиль, не говоря уже о западных странах, в которых единственная и 100 %-ная функция бомбы – удерживать как раз таких склонных к истерии удалцов, как иранские фундаменталисты или хамасовские мясники, от желания слепить мир по-своему.

У нас, у России, есть там в Иране кой-какой интерес, а именно миллиардный проект, в аккурат на постройку атомной электростанции – из-за урана которой весь сыр бор и разгорелся. Но что такое этот миллиард на фоне немереных деньжищ, загребаемых нами на собственных нефти и газе! Другое дело, что мало у нас осталось мировой политики и упускать даже такие обноски даже довольно унижительного своего присутствия где бы то ни было мы не привыкли. Как говорится, не в традициях.

Не в миллиарде, понятно, дело. А в том, что, поддерживая Иран, мы «вставляем» Западу. Штатам в первую очередь. А Штаты в жизни нашей страны – самое главное. Штаты у нас – в президиуме. Мы ведь уверены, что, как мы на них сосредоточены, так, если не больше, и они на нас. Русского человека, попадающего в Штаты, до глубины души поражает, а то и ранит, что в главной американской газете «Нью-Йорк Таймс» о России раза два в неделю, а то и один, а то и раз в десять дней упоминается в небольшой заметке на 8-й странице. И нам кажется, что занять позицию, вынуждающую Иран закрыть свою ядерную программу, значит встать в шеренгу, в которой равнение на правофлангового, а правофланговый – Америка. То есть расстаться с «лица необщим выраженьем». То есть лишиться очередного упоминания в «Нью-Йорк Таймс».

Между тем такая позиция ни в какой ряд никого не строит. Она элементарно нормальна и специального выражения лица не требует. Конечно, иранской ракете-шахиду с ядерной боеголовкой первое удовольствие полететь в сторону Израиля. Но и в сторону Астрахани не так уж плохо. Рассчитывать на сдерживание такой страны угрозой ответного удара или даже полного уничтожения не приходится. Ее официальная доктрина декларирует, что взорваться значит прямым ходом перенестись в царство небесное. Полное уничтожение всего лишь цена полного торжества.

В 1828 году персы были наголову разбиты русскими под Нахичеванью. Для видимости и по необходимости они приняли условия Туркманчайского мира, но спали и видели, как бы выпустить из победителей кишки. Ровно как сейчас, муллы и немуллы открыто проповедовали на базарных площадях месть и избиение неверных. «Толпе втолковывали, что русских следует истребить, как врагов народной религии» (выписываю из энциклопедии Брокгауза и Эфрона). 30 января 1829 года 100000 тегеранцев бросились к русскому посольству и перебили всех сотрудников (бежать удалось одному). Посланник рубился в дверях саблём наравне с казаками из охраны. Был опознан нападавшими, убит, изуродован и разве что не разорван на куски. Посланника звали Александр Сергеевич Грибоедов... И Россия, великая, имперская, могущественная, идеал нынешних государственников, это съела. Приняла извинения, сделала вид, что ничего «такого», потому что главное – мир и согласие, которые, как все видят, в конце концов воцарились.

Ну как, есть у кого сомнения насчет Астрахани? У кого есть, пусть повесит над столом фотокарточку Махмуда Ахмадинежада, президента Ирана, и поглядывает на это честное открытое лицо. Пусть прикипит рядом карту Персидской монархии XIX века, где она упирается на западе в Грецию, а на юго-востоке в Индию. И рядом перспективную карту нынешнего «шиитского полумесяца» от Персидского залива до Ливана. С примотанной поясом смертника одной-другой бомбой. Это не Аль-Каида, базирующаяся неизвестно где, это и есть обещаемое исламским миром «пассионарное» государство нового типа.

И тут хочется немного снять пафос. Покойный Андрей Петрович Старостин, выдающийся спортсмен и джентльмен старой закалки, любил рассказать про зажигательные бомбы времен Великой Отечественной. «Пугали ими страшно. А мы их лопатой на совок и в бочке с водой топили. Небось, и атомную можно так же». Я это к тому, что, небось, и на иранскую найдем управу. Но десяток Чернобылей перед этим, факт, получим.

Под конец два-три риторических восклицания. Почему, когда можно было состоять в пристойных отношениях с ФРГ, мое государство выбирало ГДР?! Когда напрашивалась связь с Израилем – разрывало ее ради безнадежной ОАР?! Когда возникала генетика – возвышало Лысенко?! Когда писали Ахматова и Зощенко – воспевало Безыменского и Ажаева?! Когда президентом становился Ющенко – поздравляло Януковича?! Когда можно иметь дело с Саакашвили – бьет бутылки «Боржоми»?!. Огорчительно.

7–13 июня

Тренер английской футбольной команды «Ливерпуль» в 1980-е годы заметил в интервью: «Игра в футбол не вопрос жизни и смерти – она гораздо важнее».

9 июня начинается чемпионат мира. Мой сын сказал твердо, что в деревню не поедет, там нет телевизора, а останется в Москве и на месяц прильнет к экрану. Чтобы обеспечить ему загар, румянец и свежую чернику, я съездил в ближайший к деревне райцентр, купил антенну, купил телевизор «Горизонт» за две семьсот, нашел человека по имени Хачик, и он поставил нам великолепную сосновую мачту 12 метров высоты. Из леса я волок ее на тросе, прицепив к своему изящному автомобилю «Хёнде Гетц», для таких грубых целей не предназначенному.

Если честно, я сыну исключительно благодарен. Потому что сам хочу смотреть чемпионат неизмеримо больше, чем загорать, дышать чистым воздухом и собирать с куста ягоды. За свою жизнь я посмотрел их не то 10, не то 12. Я видел Пеле 18-летнего, перекидывавшего мяч пяткой вперед через себя и через защитников и забивавшего его пыром, как бильярдным кием. Я видел его 26-летнего, уводимого с поля в середине тайма с разрывом мышцы, потому что в том чемпионате целью был не гол, а травмирование Пеле. Видел, как Марадона рукой забивает гол англичанам и аргентинцы выигрывают 2:1, – это было сразу после англо-аргентинской войны за Фолкленды. Видел гол англичан немцам, засчитанный советским судьей Тофиком Бахрамовым и потом сто раз показанный по телевизору в доказательство того, что мяч линию ворот не пересек. Это было в финале, а до того я мучился на эстонском острове Сааремаа, где не было телевизионного сигнала, и полуфинал мы с другом слушали по радио, по-русски, но вел его диктор «Немецкой волны», который называл футболиста Численко «Чизлонго», говорил, как будто объявлял на глухой станции отправление поезда, сонными фразами без какой бы то ни было связи, подолгу молчал, пока не произнес наконец, как с печки спрыгнул: «Чизлонго удален за поле». Это было с Португалией, португальцы выиграли, тоже 2:1.

Как и все мало-мальски стоящие люди, я футбол обожаю и ставлю его несравненно выше философии экзистенциализма, сексуальной революции и компьютерных разработок Билла Гейтса. На моей шкале он где-то там же, где джаз. Я ходил на футбол еще школьником, когда играл футболист с фамилией Левин-Коган. Полузащитник, 5-й номер, абсолютно лысый. Студентом – когда в высшей лиге была ленинградская команда с изысканным названием «Адмиралтеец», намекавшим на родство с британской аристократией. Молодым инженером – когда матчи на Кировском стадионе шли при почти пустых трибунах и, чтобы поднять посещаемость, на нем устроили полуфинал Кубка «Торпедо» – Киев, в котором Лобановский забил мяч, а Стрельцов два, и мой сосед по трибуне стал, извиваясь, танцевать, выпевая в небеса: «О, великий Перейра!» (Смысл – до сих пор загадка.) Я ходил на футбол мимо прудов, в центре которых стояли запретительные белые щиты с надписью «Не купаться! Ямы!» – и к «ямам» спереди было приписано беззлобными антисемитами-юмористами «з»: «Зямы!». На их берегах мы с друзьями выпивали две или три бутылки теплой водки из расчета полбутылки на человека и весь матч сглатывали изжогу. Уборные находились под трибунами – длинные туннели с каменными канавками вдоль стен, в которые писали на медленном-медленном ходу, двигаясь от входа к выходу. Короче, я любил футбол всю жизнь, и с чего бы мне под конец разлюбить его?

Моих обоснований этой любви – два: то, что все – люди-человеки, и то, что мяч круглый. Про человека означает, что у нас у всех одна и та же конструкция тела, мы все знаем, какие усилия и сноровка нужны, чтобы бежать, прыгать и разворачиваться, и хоть несколько раз да поддавали мяч, и наши ноги навсегда запомнили, как и куда он отскакивает. Поэтому, когда мы видим, как бегут, прыгают и разворачиваются Анри или Рональдиньо и как и куда он отскакивает у них, наши мышцы приходят в восторг инстинктивно, раньше рассудка.

А про круглоту мяча – что как ни всемогущ был военный министр СССР, или кагебешный, или генсек Украины, а какой-нибудь «Спартак», бывший «Пищевик», команда промкооперации, брал да и выигрывал у ЦСКА, «Динамо» и Киева. То есть представьте себе: маршал Ворошилов на коне или замораживавший кровь Берия в пенсне вдруг получали в свои ворота гол – от кого! Да даже непонятно, от кого: от директора артели по пошиву тапочек. И это продолжается по сей час: пацаны из «Ливерпуля» обыгрывают «Милан» премьер-министра миллионщика Берлускони. Абрамович наш любимый денег не считает, всех, кого мог, купил, а никак «Челси» Кубок Европы не выиграет.

За это, за нарушение назначенного нашим туповатым миром порядка, за интригу, опровергающую тоскливую логическую предсказуемость, – как можно его не любить! За выход этого, в общем-то, дворового развлечения в высшие сферы мировой политики, за страсти во всемирном масштабе – как не отдать ему свое драгоценное летнее время! Как не поставить антенну, не потратиться на скромный отечественный ящик – ради вовлеченности в международные конфликты высшего разбора! Например. 2 апреля сего года израильтяне пульнули ракетой по обстреливавшей их палестинской установке, размещенной в секторе Газа не то возле стадиона, не то на нем самом. Результат – на поле пять метров воронка, один раненый. ФИФА, Всемирная Федерация Футбола, объявила, что она возмущена. Конкретно Жером Шампань, заместитель генерального секретаря, возмущен: обстрел без какой бы то ни было причины. Посол Израиля в ЕС Хаим Циммер дает исчерпывающие объяснения: арабские ракеты кас-сам – ответный удар ЦАХАЛа. Отдельно связывается с Шампанем глава Федерации Футбола Израиля Иге Менахем. Шампань удовлетворен. ФИФА удовлетворена.

На какую высоту поднято, а! Вне стадиона – не то чтобы совсем пожалуйста, но ладно уж, бывает. А вот на самом стадионе – за рану, нанесенную футбольному газону, будем карать двухлетним отлучением от участия во всех мыслимых чемпионатах!

Что-то я не помню таких угроз футбольной федерации Чили, когда в 1973 году на стадионе Сантьяго сотнями расстреливали людей.

14–20 июня

Миллион раз повторены слова Адорно о том, что после Аушвица нельзя писать стихи. Нельзя беседовать так, как до Аушвица, так глядеть в глаза, нельзя жить. И однако живем, один другому улыбаемся, болтаем, Катастрофа ушла в прошлое, как Потоп, как Атлантида под воду. Через 60 лет разговор об Аушвице вызывает реакцию, в общем, неприязненную, раздражение на неблаговоспитанного человека, в который раз лезущего с набившей оскомину бестактностью. Тем более у нас, в России. У вас сколько, шесть миллионов? А мы за то же время остались без тридцати, а то и всех сорока – погибших на фронте, в тылу, от голода, от ран. У вас половина народа? И мы лишились половины – если считать революцию, гражданскую войну, коллективизацию, террор. И наша половина числом раз в двадцать больше вашей. И ничего, не поднимаем шума, пишем стихи, веселимся, как умеем.

А действительно, почему не сравнить? Только потому, что там шло истребление намеренное и объявленное? И по признаку расы? И именно евреев с их библейской и послебиблейской историей? Это, согласитесь, второстепенно, детали. Гибель, она и в Африке гибель. А чем она сопровождается, это эмоциональный фон и сила изложения фактов. Так что погибли, жаль, но что делать? И ваши, и наши – пусть земля им будет пухом, вечная память, все там будем. Но мы пока – живем и не хотим загонять свою жизнь под беспросветную тучу их страданий.

Выхода три. Отослать память об этом в историю – по возможности, подальше: в войну с Наполеоном, в средневековую чуму, в разрушение Иерусалима. Второй – принять это как необсуждаемую сторону национального предопределения. Такая вот судьба у нашего народа: татаро-монгольское иго, сорокалетнее блуждание в пустыне. Она больше всякой личной судьбы, с ней не поспоришь, и трагедии XX столетия стоят в ряду всего остального. А третий – пересмотреть случившееся, подать его как принадлежность ушедшей эпохи. Ей, мол, Аушвиц, ГУЛаг, изничтожение людей на уровне насекомых были свойственны так же, как нашему времени Интернет и отпуска на турецких пляжах. А при таком положении вещей – свободное дело допустить все, что угодно. Например, что выжившим бывало потяжелее, чем истребленным.

«Пересмотр времени» сейчас предмет многих культурно-исторических выкладок. Обстановка меняется, мы судим о прошлом: недавнем, гибельном – с новых позиций, видим в отдаляющейся перспективе то, что, как нам кажется, было незаметно участникам, свидетелям – нашим отцам. Зато от нашего понимания уходит то, от чего зависело, будут они жить или погибнут: их слова и поступки. Иногда обдуманные, а иногда инстинктивные, те и другие так или иначе сопоставленные с подсказкой совести. Нам они – материал для осмысления сделанных ими шагов. Им – возможность или невозможность ощущать себя человеком до момента гибели, которую слово и поступок приближали или отдаляли.

Современного осмысления порядочно, к примеру, в книге «Борис Пастернак» молодого Дмитрия Быкова. Так как книга обладает очевидными достоинствами, то на ней привлекательнее, чем на ходульных телевизионных заявлениях, продемонстрировать, как ради пересмотра можно пренебречь человечностью. Так что это не рецензия, это полдюжины сносок к полдюжине фраз, определяющих центральные концепции.

Пастернак был редкостно органичным и гармоничным существом, ему шло то, что другого пятнало бы. Объективно влюбленность в революцию и 20 лет веры в советский режим приносили политическую и практическую выгоду. Гордиться тут нечем. Но и оправдываться – при его цельности и искренности – не требовалось. Однако автор книги решает представить его позицию как тяжелое испытание и заслугу. Для чего ему приходится идти на немыслимые логические выкрутасы и утверждать прямые нелепости.

Жене Пастернака, пишет он, «не повезло в общественном мнении точно так же, как и советской власти». То есть советской власти, с учетом всех этих превращенных ею в пыль миллионов, могло и «повезти» в общественном мнении, правильно я понимаю?

Вождь «прекратил идеологическую кампанию, явив все ту же иррациональную мудрость и либеральность». Это кто: шекспировский принц Гарри или Иосиф Джугашвили?

Те, кто требовал в газетах расстрела Зиновьева и Каменева, «верили в мягкость будущего приговора: надеялись на помилование, как в случае с Промпартией». Как это замена промпартийцам смертного приговора на 10 лет каторги – помилование?

«Отказ от сотрудничества с государством представлялся Пастернаку предательством. Любопытно, что Мандельштам в это время тоже говорил о традициях революционной интеллигенции, понимая их ровно противоположным образом: «...Для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, Чтоб я сейчас их предал?! Мы умрем, как пехотинцы, Но не прославим Ни хищи, ни поденщины, ни лжи». Здесь-то и сошлись два варианта интеллигентской жертвенности. И чье положение трагичней – не ответишь». Как так? «Сотрудничество» – и «мы умрем», и ведь умер, именно не прославив, – и непонятно, что трагичней? Полноте.

То же и сравнения с Ахматовой. Ахматовой «доставалось», «по ней пришелся удар сталинского постановления» – формулировки, скажем так, мягкие. Зато Пастернака «в апреле 1932 года чуть не отлучили от литературы вообще». «У Ахматовой не было переделкинской дачи и московской квартиры [это точно: у нее было место в тюремной очереди] – но не было у нее и переводческой каторги [формулировка, так скажем, художественная], от которой у Пастернака в сорок пятом отнялась правая рука». Пастернака жальче.

«Путь, избранный Пастернаком, охраняет от самого страшного – от гордыни; и оказывается по-своему не менее жертвенным, чем мандельштамовский». Да нет, есть вещи пострашней гордыни – когда на допросе бьют по гениталиям, мочатся в лицо.

«... обоим пришлось расплачиваться». По-разному, правда?

Судя по тому, что автор понимает куда более глубокие и тонкие вещи, он понимает и то, что все это не что иное, как неприличная демагогия. Что понятию «согласие с временем» – временем убийства людей – могут найти должное имя только те, кого убивали, а не писатели в мягком кресле. Что принимая тогдашнюю установку на «симфонию с государством», мы даем индульгенцию себе сегодняшним. Что, хотя «сотрудничество» – существительное среднего рода 2-го склонения и «страдание» – среднего рода 2-го склонения, «жизнь» – женского, 3-го, и «смерть» – женского, 3-го, это разные слова. Если половина народа погибла, половина – нет, то одна не равна другой, и у нас есть объективные причины относиться к ним неодинаково.

Одинаково не получается. Народ не «население», которое может быть побольше численностью и поменьше. Народ сакрален, сакрално все, что с ним происходит. Этим и объясняется еврейское умение сохранять страдания народа живыми.

19–25 июля

В конце 2003 года «Сохнут» пригласил нескольких писателей на полторы недели в Израиль, меня в том числе. В один из дней нас привезли в кибуц Эйнь-Геди, его почти всегда называют приезжающим. В нем есть баобаб, который мы решили всей компанией обхватить, но пришлось позвать еще двух человек из местных, и есть анчар, который мы решили не трогать, лишь бы он не трогал нас. Градус нервности немного поднимал сбежавший из кибуцного зоопарка небольшой леопард: он прятался в ближней чаще. Но самое большое впечатление произвел «каменный» заяц: кибуц находится на горе, мы в бинокль рассматривали ее склон и соседние горы и там заметили – горных козочек и этого самого зайца. «Камень прибежище зайцем» (каменные утесы – убежище зайцам) – 103-й Псалом. Реальность прыгающего зайца словно бы свидетельствовала за достоверность всего остального, что написано в Псалтири.

На этом фоне то, что нам показывал и рассказывал гид по кибуцу, один из его основателей, пожилой, серьезный и одновременно ироничный человек, выглядело более заурядным. Лишенные какой-либо архитектуры домики, там облупилась краска, там отслоилась фанера, ланч в общественной столовой – ожидаемый, ровно такой, как во всех израильских столовых. Гид – если я не ошибаюсь, по специальности юрист, но как все кибуцники, еще и крестьянин, столяр, водопроводчик, философ – описал прошлое общины и настоящее, предположил, каким будет ближайшее будущее. Социализм повсеместно, в частности, и здесь, пришел к концу, его идеи нимало не интересуют молодых, большинство заявило права – вполне законные – на свою долю общей собственности. Он говорил об этом спокойно, горечь или разочарование – если и звучали, а точнее, если захотеть их услышать – были растворены в патентованном еврейском юморе.

После экскурсии, когда он провожал нас к выходу, я спросил, а как все-таки формулировался замысел создать общину. Не идеи, а непосредственное желание, необходимость. Он усмехнулся и, фыркнув, дал понять, что, если мне угодно будет обнаружить в ответе смешную наивность, то пожалуйста, она есть, он тоже ее видит и вовсе не призывает ее с пафосом защищать. И сказал – не снимая с лица улыбку, заведомо признающую поражение: «Ну, например, – мы хотели, чтобы без денег». Я тоже улыбнулся: дружески и сочувственно – как воспоминанию о чем-то милом, мечтательном, беспочвенном, что было в детстве.

Не стану вас уверять, что его слова запали мне в душу. Но за истекшее с нашей встречи время эпизод пару раз промелькнул в памяти. А однажды я говорил с кем-то из близких, а потом уже с самим собой о новом, установившемся у нас в последние годы отношении к деньгам и, как бывает в таком полудействительном, полувоображаемом состоянии, этот человек встал рядом, в той самой обстановке с баобабом, прячущимся леопардом, потрепанными коттеджиками, и повторил свои слова. Не как ребенок, не знающий, в каком мире живет, а как конкретный мой собеседник, который показывает на окружающее и говорит само собой разумеющееся: «Ну?! Вы видите, что творится? Нет, надо без денег». Мишигенер! Он; я; оба.

Живого миллиардера, врать не буду, я не встречал. Трех-четыре наших миллионеров (долларовых) лично знаю – настоящих, крепких. Ну что? Баня. «Хеннесси». Дом здесь, дом там, два дома здесь, три дома там. Яхта не яхта, но пароход. Теннис. Путешествия по индивидуальному плану. Определенная поучительность во всем, что говорится. По праву занятого положения – как людей, узнавших в жизни кое-что, чего ты не знаешь. Убежденность в том, что им позволено несколько больше, чем не им, что они все-таки хозяева и, стало быть, те, кто не они, выходит, холуи. Что еще? Пожалуй, всё. Остальное – варианты перечисленного. Объективные критерии успеха, как то: счастье, покой, изгнанное из жизни несчастье – отсутствуют. Скорее наоборот: тревога, занятость, постоянная готовность к неприятной новости. (Есть, конечно, возбуждение от риска, приподнятость от вызова, удовлетворенность от победы,

однако не «упоеание в бою и мрачной бездны на краю», а, как сейчас принято говорить, адреналин.) Плюс незащищенность от какого-нибудь бомжа Ноздрева, который успевает на твоём коротком пути от двери ресторана до машины возгласить: «А ты, Чичиков, подлец!»

Опровержения мне известны. Да какие опровержения – снисходительная, если не презрительная гримаска: что, лузер, зелен виноград? Чего не имею, то отрицаю?.. Тогда вот историйка. В 1988 году я первый раз за границей – и это сразу Америка, Нью-Йорк. Бродский знакомит с разными западными чудесами. Например, вкладывает в стену карточку, и оттуда лезут доллары – до этого видел только в кино. Спрашиваю, был ли у него после отъезда из России период безденежья. Нет, с самого начала ждали какие-то невеликие гонорары, а потом стал зарабатывать выступлениями и преподаванием. «Однажды, в самом начале, беру из стены, вот как сейчас, деньги: выползает за ними квитанция, что у меня на счету 3800. О, думаю, еще 200 и будет 4000. Подумал и говорю себе: Иосиф, стоп!» То есть стоп про это, про деньги так думать, раз и навсегда. Не то начнешь – копить. Не на «черный день», не будем себя уговаривать, и даже не на завтрашний, а, так сказать, «вообще». Потому что деньги так любят: чтобы их накапливали.

Через пару лет я в Москве столкнулся на улице со знакомым: оказалось, утром прилетел из Штатов, тоже был впервые. От разницы во времени немного не в себе, глаза красные, наполовину еще *там*, на *Там-сквере*. Ну как? – спрашиваю. Человек абсолютно адекватный, с отбалансированным сознанием, немногословный. Помолчал, потом говорит: «У них что-то с деньгами не в порядке. Почему-то главная тема». А недавно я читал американский журнал поэзии, и там стихи Лайама Ректора, с эпиграфом «Когда говорят, что это не о деньгах, это о деньгах».

Как все просвещенное человечество, я в курсе того, что евреи а) изобрели деньги, б) их любят, в) их имеют, г) только они их и имеют, и так далее. Так что, когда они собираются, как в Эйн-Геди, чтобы попробовать вырваться из угнетающей сосредоточенности разговоров, мыслей, всей жизни на деньгах, мы а) имеем дело со специалистами, б) не имеем права не преклониться перед грандиозностью замысла.

13–19 сентября

Кончилось лето, кончилась война в Ливане – началось ненастье, началась политика. У меня к политике, а еще больше к разговорам о ней, идиосинкразия. В жизни политика – гарнир. Где-то есть жаркое – цунами, поджоги, перестрелки, грабежи. Вкус крови и слез. Жизнь ориентирована на жаркое, не на гарнир. Я ориентирован на жизнь. Если так, выходит, нечего и писать на политическую тему. Но я каждый день, начиная с «Летних дождей», в довольно глухом месте внимал средствам массовой информации, точнее, вышелушивал ее из политических комментариев. Выглядело бы искусственным умолчанием не издать об этом ни звука в своей колонке. Так что я просто заявляю о моей позиции. Довольно, предупреждаю, банальной.

Июльско-августовскую операцию Израиля против Хизболлы пресса и телевидение подавали, по большей части, как соревнование. Укладываются ли состязатели в контрольные сроки, какой счет по убитым-раненым, по выпущенным ракетам, по суточному наступлению-отступлению войск. Оценки «выигрыш» и «проигрыш» повторялись чаще, чем во время футбольного чемпионата мира, который в эту операцию как бы перетек, как бы так было запланировано. Почти все равно, в какой печатный орган, в какую телепрограмму было сунуться. Обозреватели сообщали убежденно «Израиль проиграл» – и объясняли «непоправимые ошибки» проигравшего.

Дочь моих близких друзей – журналистка. Заметная – что называется, с именем. Знаю ее со дня ее рождения, она меня, получается, тоже, так что разговариваем без обиняков. В разгар ливанской кампании она не оставила от меня камня на камне. Я принимал действия Израиля не только без критики, но даже без обсуждений. Я исходил из того простого соображения, что если он так делает и кладет на это жизни людей, которыми – каждым – дорожит больше всего на свете, значит, так ему лучше.

От нее я услышал, что а) он пляшет под дудку американцев, которыми используется в их стратегических целях; б) Ливан – прекрасная страна с прекрасными пляжами и потрясающей ночной жизнью, и действия Израиля восстанавливают против него общественное мнение Запада, то есть людей, наслаждающихся этими пляжами и ночами, и, главное, в) сплачивают арабов. Дочь моих друзей умница, достаточно проницательна, достаточно образована, темпераментна. Но – журналистка. Журналисты должны быстро думать: сейчас факт – через минуту мнение. Через полчаса статья. Им некогда взвешивать: на стол падает карта – надо немедленно бить. Иначе говоря, все возможные мнения уже находятся в колоде. Отчего у них создается впечатление, что они знают больше нежурналистов.

Это не так. Они *осведомлены* больше, но *знают* иногда даже меньше. Они осведомлены в политике, но политика распространяется на ограниченную зону взаимоотношений, все равно – человеческих или государственных. Без политики обходятся, например, чувства. Или инстинкты. Не применяется она в рукопашной схватке. Политика – средство улучшения ситуации. Рукопашная, если она не по причине удали, – средство выжить.

Тут, все знают, об удали речи нет. Стало быть, в очередной раз – выживание. Ключевое слово. Даже при безоглядной любви к арабам никто не говорит, что от их противостояния с Израилем зависит, будут они жить или погибнут. Говорят о мести, о восстановлении трагетемой по-арабски справедливости, об исконности территориальных прав. Арабам живется несладко, тяжело, порой невыносимо. Но – живется. Ни у каких израильских ястребов нет мысли поголовно всех истребить. Тогда как Израиль вот уже десятилетий – выживает. Цена этого – предельная, выше не бывает. Чтобы сохранить жизнь народа, платится жизнью его людей – десяти, ста, иногда тысячи. На таком фоне сочувствовать ли Западу, что его лишают бейрутских ночных клубов и морских ванн? Что же до сплочения арабов, то его причина одна: ненависть к евреям – безразлично, взрываются еврейские снаряды или нет, вокруг Насраллы

объединяться или вокруг Арафата. И если выживание Израиля совпадает с американской стратегией на Ближнем Востоке, пусть совпадает.

Нам объясняют, что Ширак так антиизраильски настроен потому, что боится своих, французских арабов. Бедный Жак бен Ширак! Я бы по-человечески пожалел его, если бы не, например, Дрейфус, который случился до всяких арабов. Точно так же цвело и пахло во Франции тогда. И задолго до того точно так же обходились с евреями на Западе и на Востоке, на Украине и в Персии.

Точно так же не любили их филистимляне и амалкитяне, когда Украины и Персии не было в помине. Но те евреи и не нуждались ни в чьей любви. Рассчитывали на Бога, на свои и ближнего своего силы, и воевали. Чтобы выжить. Нынешние, к счастью, тоже.

Большинство журналистских обзоров сопоставляет перспективы сторон на несколько ближайших сезонов. Как правило, они рисуют израильское будущее в мрачных тонах, арабское в светлых. В Египте уйдет Мубарак, в Ливане Хизболла победит на выборах. И окажется наш Израиль (триумфально, как сказку, непонятно, с хорошим или с плохим концом, заключают свои статьи политические обозреватели) в том же положении, что полвека назад, один против всех.

Что-то есть исключительно безвкусное, а назвать настоящим именем, то и безнравственное в таком подходе. Не потому, что бедный Израиль катится в пропасть, а журналистам и политикам все равно. А потому, что катится или не катится, никто не знает, но в живых людей влетают пули и осколки снарядов, отчего они падают мертвыми или тяжело ранеными, это определено, а журналисты и политики делают ставки.

На самом деле неудовлетворенность болельщиков происходит оттого, что они обмануты в своих ожиданиях. Ждали разгромного счета, поэтому тот, который обеспечивает победу, им уже не победный. Ждали второй Шестидневной войны. Но та, уложившаяся в шесть суток 1967 года, уникальна – не я один, а весь мир тогда раскрыл рот, пораженный ее невероятным разворотом и итогом. Не все такие: эта – другая. И следующая, та, о которой пишет пресса и говорит ТВ, будет другая. Не стоит гадать, какая.

20–26 сентября

Молодые люди воспринимают время своей молодости как начало новой эпохи. Представление это в них так сильно, что, взрослея, они навязывают его остальному миру. Шестидесятники, по их убеждениям, отличаются от семидесятников, семидесятники от восьмидесятников. По мере отступления десятилетий в прошлое исторические периоды в сознании человечества укрупняются, история начинает оперировать четвертями столетия, половинами, наконец веками. И не оттого, что так удобнее охватывать время, и не ради обобщений или концепций, и не по причине размывания отступающих событий и людей. А потому, что, действительно, эпохи гораздо чаще не столь отличны одна от другой, сколь схожи.

Это наблюдение преследовало меня, когда я читал недавно вышедшую по-русски «Жизнь Антона Чехова» (Издательство Независимая Газета, 2006). Автор книги – Дональд Рейфилд, профессор Лондонского университета. На сбор и изучение материалов, а затем само писание он потратил годы, заметную часть своей жизни. И, судя по некоторым признакам, не прогадал.

Я имею в виду влияние, которое, если не ошибаюсь, произвели личность и судьба Чехова на автора. Два или три раза меня приглашали в Лондонский университет выступить с лекцией. У меня осталось впечатление довольно угрюмого заведения. Манера «исследования», в которой главное полнота и скрупулезность, засушивающие материал и обрекающие читателя на почтенную скуку, нет-нет и сквозит в книге, выдавая в Рейфилде «профессора». Но от того, что он цитирует и что сопоставляет, исходит мощное излучение чеховской индивидуальности. Она обладает такой творческой непреложностью, что вынуждает соответствовать себе биографа, подчиняет его литературный слог и образ мыслей. Во всяком случае в превосходном переводе О. Макаровой. Это язык, усвоивший Чехова, полновесный, точный, лишь изредка свидетельствующий, что им пользуются в начале XXI столетия.

«Жизнь Антона Чехова», в самом деле рассказывает, как он жил. Понятное дело, она учитывает, что он писал, но именно учитывает – в той же степени, что его занятие садом, рыбная ловля или посещение ресторана. Это жизнь человека, более или менее тиранически угнетаемого семьей все детство, отрочество и юность. А затем человека долга, приговоренного членов этой семьи так или иначе содержать. Параллельно – вступающего в связи, реже – заводящего романы, со среднестатистическим числом женщин, большинство которых притязало на его внимание до конца жизни. И над всем – слабого зрением, больного желудком и смертельно – туберкулезом. Но то, что он был мужественный, умный, честный и уникально одаренный, переводит эту жизнь из множества вызывающих бессильное сочувствие в разряд подлинно драматических, значительных, универсальных. Это герой... ну кого? Диккенса? Раннего Достоевского? Золя? Нет, все-таки – Чехова.

Книга, как принято в наше время, выставляет напоказ интимную сторону жизни. На мой старомодный вкус, даже несколько излишне на этом сосредоточена. Но должен признать, что сексуальные настроения, притязания и предприятия героя, как они подаются в книге, не преувеличены по-нынешнему, и отсылки к ним не самоцель. Они рисуют портрет, в общем, так же, как описания того, что он ел и у каких врачей какими лекарствами лечился. Опять-таки – они говорят о среднем человеке эпохи. Каковым Чехов и хотел быть, и старался – сопротивляясь, сколько мог, превращению в *выдающегося*.

А что поражает в возникающем из этих частных портрете эпохи, так называемого безвременья конца XIX – начала XX века, так это узнавание в ней, как в целом, так и в деталях, нашего времени, конца XX – начала XXI. Тотальная коммерциализация жизни, стяжательство как идея, лицемерие властей, бедность людей обыкновенных и богатство пробивных, бессильный либерализм и звероподобная консервативность, мелкотравчатость литературных и театральных нравов, нахрап, вульгарность, пошлость. Полиция без законов, военные без войны.

Забитая провинция, тусовочная столица, для полноты сходства – две, те же, что у нас. Антисемитизм как обыденная практика, юдофильство как вызов и добродетель. Будто это сегодняшняя Россия, только выключилось электричество, перекрыт газ, из-за бензинового кризиса пропали автомобили.

Особое место, одно из центральных, в судьбе Чехова занимает тесная, без малого двадцатилетняя дружба со знаменитым издателем Сувориным. Суворинское «Новое время» будет покрепче, не говоря уже на голову выше, прохановского «Завтра», а сам Суворин – и любого нашего генерал-патриота, и любого из медиа-магнатов, но миром мазано одним. Его фигура воплощает крайнюю реакционность политической позиции, национализм, махровое юдофобство, предприимчивость, искусство вести дела. То есть качества, прямо противоположные чеховским. Чехов при этом не скрывает своего несогласия, а то и возмущения установками и действиями друга. Он активный дрейфусар, либералы безоговорочно признают его единомышленником. Однако чувство пронизанной верностью и нежностью привязанности редко когда считается с принадлежностью к лагерю. Объединяла их не только преданность друг другу, но и масштабность, ум, чутье, высокий профессионализм.

Не удивительно, что эта книга появилась в Англии: там существует культ Чехова, это не первая его биография, написанная англичанином. Но она больше просто хорошего жизнеописания. Она еще и о том, как человек умирает: не именно Чехов, а – человек. Как у Толстого в «Смерти Ивана Ильича». Человек прожил 44 года, с середины этого срока его начал сгрызать туберкулез. Тогдашний СПИД. Последнее семилетие он жил обреченным, умирающим. Однако полноценно вел хозяйство в купленном имении, лечил больных, участвовал в общественных комитетах, помогал множеству людей, написал лучшую часть своей прозы (начиная с «Мужиков»), «Три сестры» и «Вишневый сад», издал собрание сочинений, ездил за границу, построил дом в Крыму, женился. Выпил поданный лечащим врачом бокал шампанского, сказал: «Давно я не пил», – лег на левый бок и умер... Достоинство жизни не в долготе, а в насыщенности. Через четыре десятилетия его первую невесту, Дуню Эфрос, в возрасте 80 лет отправили в газовую камеру. Чеховская эпоха длилась и длилась. Длится и длится.

25–31 октября

Неделю, в течение которой разгорался антигрузинский скандал, газета «Еврейское слово» была в отпуске. Жаль. То, что происходило, имеет к кругу ее читателей непосредственное отношение.

Моя мать была врач-педиатр. Относительно известный в Ленинграде детский доктор. Уже когда ей было за 70, мамы бывших ее пациентов, ставшие бабушками, и пациенты, ставшие мамами, и их знакомые, знавшие о ней только с их слов, звонили, спрашивали совета, просили посмотреть больного ребенка. За вычетом военных лет, проведенных в Свердловске в эвакуации, она всю жизнь проработала участковым врачом в одной и той же поликлинике, на улице Глинки, наискосок от Мариинского театра. За 70, максимум 80, рублей в месяц. Когда началось сталинское дело врачей, ей было немного за сорок. Помимо того, что печаталось в газетах и говорилось по радио на государственном уровне, жару поддавали и широкие массы трудящихся. Иногда они даже не отдавали себе отчета в том, что участвуют в травле. Они проверяли правильность выписанного им рецепта, просто заботясь о здоровье своих кашляющих и сопливых детей. Что медик любой масти и уровня, в особенности с еврейской фамилией, потенциальный вредитель, сомнений не вызывало. В этом убеждали, во-первых, спущенные с самого верха факты, во-вторых, а действительно, если можно выписать ацетилсалициловую кислоту, то ведь можно и серную, не так ли?

Для моей матери и всей нашей семьи это была уже вторая волна реальной угрозы, крайней опасности, смертельной тревоги. Первая прошла за 15 лет до того, в пору террора. Хотя он был общий для всех и в логике не нуждался, мать могла ожидать самого худшего по конкретной причине. Она училась во Франции, в университете Монпелье, и уже было известно об аресте одной ее соученицы. В углу нашей комнаты стояла корзина с предметами первой необходимости – для нее и ее годовалого сына, пишущего сейчас эти строки. Тогдашнюю обстановку я, разумеется, не осознавал, так что свидетельствовать о ней не могу. Конец же 1952 года, потемневшие лица родителей, мамины слезы, катастрофичность, витающую в воздухе, и общую свинцовую атмосферу помню ярко, в подробностях, и до сих пор переживаю с волнением.

Один из моих нынешних соседей по подъезду – грузин. Работяга, слесарь. Обладающий лучшими из присущих его народу качеств: обаянием, готовностью помочь, душевной широтой, тонкостью, юмором – что там еще? Понятно, что на второй день поднятой кампании к нему явились два милиционера. По факту его принадлежности к нации, объявленной торгашеской, наносящей урон нашей экономике и вообще наглой. Сосед по подъезду моей дочери тоже грузин: серьезный, всегда вежливый, расположенный к другим. У него бизнес, совершенно легальный, он умеет его вести. Работать приходится с утра до позднего вечера, а он пожилой и не очень здоровый. К нему еще не приходили, но он ждет – и когда я увидел его лицо, и его жены, и моего соседа, я знал, что у них творится в душе, знал с такой же точностью, как если бы это творилось в моей. Потому что это и творилось в моей – тогда, пятьдесят с лишним лет назад.

«Политика» – слово-обрубок. К настоящему моменту она потеряла все свои качества, кроме одного: показывать кузькину мать. Когда предлагают «решать конфликт политически» с Ираном или Северной Кореей, это означает, как правило, ждать у них в прихожей. В надежде, что они еще некоторое время не покажут тебе кузькину мать и не выгонят за дверь. Поэтому американцы делают то же самое упредительно. Мы – когда уже выгнали. Ничего другого ни мы, ни они, ни, кажется, никто на свете, делать не умеем. Разучились так же, как штопать носки. Раньше был деревянный грибок, приемы поддевания порвавшихся нитей, накладывание поднырывающей иглой крест-накрест новых. Теперь – только выбросить и купить другие.

Все, всё человечество поголовно, знают, что ни кузькину, ни какую показать никому уже не выходит. Разбомбить, раскурочить – пожалуйста. Да и тоже не без потерь, о которых еще

надо в затылке чесать, не позлокачественней ли они, чем у раскуроченных. На следующий день после того, как выступили президент, министры и думцы и были «приняты меры», я стал звонить друзьям в Тбилиси. В трубке шипело, соединения не происходило. В этом тоже не было ничего нового: с начала 1960-х мой телефон время от времени работал в этом режиме до конца 1980-х. Через день я дозвонился, слышно было, как на заре телефонизации: я орал, потом пауза, потом мой друг, пауза, и так далее. Я спросил, в частности, есть ли у них вода: два года назад, когда я был в гостях, она шла лишь несколько часов в сутки. Сквозь эфирное мычание и скрежет я услышал: «Вода есть. Есть вино, баранина, виноград – приезжай».

Ни в подъезде, ни летом в деревне, ни в метро люди давно не живут по принципу, кто кому покажет. Даже в самых напряженных коллизиях не перерезают телефонный кабель, не перехватывают почту, стараются, не теряя достоинства, пусть без любви, но и без мордобоя, договориться. У всех есть свой опыт и здравый смысл. Если у нашего начальства опыт и понятие о здравом смысле другие, это не значит, что у них правильные, а у нас нет. Если беспокоиться о демографическом состоянии страны, то прежде чем объявлять это приоритетным национальным проектом, следует исходить из того, что Россия – не изолированный ото всего мира Бутан. Ее демографию определяет не одна титульная нация, а и грузины, и евреи, и, допуская, один-два бутанца. Этнические преследования ведут к ишемической болезни у конкретных представителей этноса. Демографическое положение еще больше ухудшается. Если только это не какая-нибудь «суверенная» демография.

Как опять-таки все, а круг читателей газеты «Еврейское слово» в особенности, знают, у национального вопроса нет окончательного решения, даже если из нации выпустить 30.000.000 литров крови. И той, из которой ее в данную минуту не выпускают, нельзя забывать, что она следующая. Что при любом, пусть самом малом, нагреве разработок, идей, решений по национальному вопросу она находится в ближайшем резерве главного командования.

15–21 ноября

Нобелевскую премию по литературе получил в этом году турок Орхан Памук, с чем мы его искренне поздравляем. Я читал его «Стамбул: Город воспоминаний», и даже по этой специфического жанра книге видно, что настоящий писатель. Умеющий говорить о пространстве и времени как о своих личных сферах обитания. О месте, непременно пронизанном молнией момента: одно попросту не существует без другого. О конкретном доме, квартале, улице так, что становится понятна любовь или тоска живущих в них людей.

И однако чувство неудовлетворенности остается в душе. Ни в коем случае не оттого, что «не тому дали»: говорю же – замечательный писатель! А оттого, что нет сейчас такого, знак признания которого – нобелевский или любой другой – принес бы беспримесное удовлетворение. «Того» – не существует.

Выбор нобелевского комитета не перст небес, это само собой разумеется и стоит за скобками. Но я вспоминаю лауреатов 1950-60-х годов. Хемингуэй, Фолкнер были кому-то не по вкусу, но их крупнокалиберность, масштаб, значительность не оспаривались. Как писателя Камю могли причислить к более легкой весовой категории, зато все знали, что он говорит о самом главном на тот момент. Беккета не очень читали, а читая, не очень понимали, однако чувствовали, что это существо другого порядка, нездешнего разбора. Даже периферийная латиноамериканка Мистраль излучала свечение таинственной великой поэзии континента, даже не вполне убедительный Элиот внушал благоговение перед мировой культурой в ее европейском освоении.

Премии регулярно давали и второстепенным авторам, но ее престиж поддерживался стоящими в одном с ними списке Манном и Гессе. Нынче ситуация такова, что крупных фигур не может быть принципиально. Пока писатель, поэт дойдет до статуса «фигуры», политические, национальные, религиозные, корпоративные абразивы обтекут его до образца, отвечающего требованиям времени, ожидаемого, унифицированного. Такие же, как он, те, с кем он сталкивается в обществе, трется в тусовке, и обтекут.

Разговаривая с Исайей Берлином, я однажды спросил его мнение о Грэме Грине. «Он был талантливый. Талантливый и оригинальный писатель. Есть мир Грэма Грина. Как, например, мир Одена. Они создали миры, это действует, это редкая вещь». За словами моего собеседника стояло недоговоренное «но». Это миры, *высвеченные* писателем. Не *сотворенные*, как, скажем, Достоевским. И это миры, *ограниченные* писательскими представлениями и пониманием. А не *вселенские*, как, скажем, у Толстого.

Но и тип писателя, создающего свой мир, уходит в прошлое. Маркес – а кто еще? Лучшие из современных заняты *интерпретацией* действительности. Номинированными на нобеля в этом году были еще израильтянин Амос Оз и американец Филип Рот. Оз получил признание совсем молодым, в 1968 году, после книги «Мой Михаэль». Это роман богоборческий в том смысле, что героиня не принимает Замысел в его исполнении, бунтует против основ, заложенных в миропорядок. Оз тоже «талантливый и оригинальный писатель». Я, положим, предпочитаю Йегошуа с его великолепным «Господином Мани», но это можно отнести за счет вкуса. А вот гораздо важнее вкуса то, что я помню свое впечатление от первой встречи с прозой Шмуэля Агнона. Не могу сейчас назвать, что конкретно я тогда читал, помню только ошеломление сродни тому, какое получил от первого чтения Андрея Платонова. Я так и сохранил на всю жизнь убеждение, что если перевести Платонова на иврит, стихия его текстов окажется близкой к агноновской. Вот этого: мощи, плотности, неоспоримости, магии – ни у Оза, ни у Рота нет.

Три года назад я в составе писательской группы встречался с Озом. Неловкость чувствовали обе стороны: устроители, видимо, предполагали, что мы должны рассматривать его, как еще один экскурсионный объект. Когда в начале Отечественной войны писателей из Москвы и

Ленинграда эвакуировали в Среднюю Азию, те, кто был знаком с великим акыном Джамбулом, ликовали: он был всемогущ и, конечно, устроит их в Казахстане наилучшим образом. Они не догадывались, как он всемогущ: по его приказу поезд прошел в Ташкент без остановки в Алма-Ате. Встреча с Озом планировалась у него дома в Араде, он перенес ее в гостиничный зал для приемов. Стало понятно, что он обладает кой-каким влиянием помимо писательского, – и, возможно, не только в Араде. Он оказался обаятельным, вел себя симпатично, произнес интересную, существенную и забавную двадцатиминутную речь. Потом так же разговаривал то с одним, то с другим. Но меня не покидало ощущение, что это человек прежде всего политически и социально нацеленный, не чужой в коридорах власти и оппозиции и то, что называется, прогрессивного направления. Что он писатель, выглядело только дополнением к этому облику.

Про кого сразу ясно, что писатель и больше никто, это Филип Рот. Выглядит он спортсменом за миг до старта: спокойный, даже чуть-чуть расслабленный, готовый рвануть с места так, чтобы исчезнуть из поля зрения. Крепкий, с пронзительными глазами и живым лицом мужик. Разговор ведет энергично, реплики, которыми встречает твои, ясны, неожиданны и ярки, пружины и мотивы поведения людей понимает до тонкостей. Жизненная позиция, хотя он ничем о ней не заявляет, присутствует в каждом слове и жесте. Даже если не знать, кто перед тобой, все время подмывает спросить: а вы не пробовали писать?

Пишет он уже около полувека. Не берусь сказать, создал он филипп-отовский мир или только разобрался в реальном. Но, открывая его новую книгу, я знаю, что непредсказуемое и узнаваемое будет переплетено в ней без оглядки на чью-то оценку, драматически, захватывающе – как ни у кого другого. Он номинировался на нобеля уже несколько раз и ни разу не получил. И ни разу тот, кто получил, не был лучше его. Потому что премию дают не *лицу*, а *представителю*. Как представитель Оз – окей: левых взглядов, борец за мир, сторонник освободительных движений. Ему не дали потому, что нельзя, а то подумают, что нобелевский комитет против арабов, мусульман, исламского мира. Роту не дали потому, что он представитель наихудшего сочетания: американец-еврей и герои его книг американцы-евреи. Возможно, не дадут никогда. Сейчас надо быть антиамериканцем и уж никак не проевреем.

22–28 ноября

На недавних выборах в Конгресс и Сенат США демократы после 12 лет меньшинства наконец завалили республиканцев.

12 лет назад я преподавал в Нью-Йоркском университете, NYU. Уже за полночь того дня, в который проходили выборы, мы с женой возвращались домой, и я спросил у портье о результатах. Он назвал имя победителя по штату Нью-Йорк. Даже я, чужой человек, приезжавший в страну на семестр-два в качестве poet-in-residence, поэта, преподающего литературу, был увлечен перипетиями предвыборной борьбы. Болел за одного, надеялся на поражение другого. В течение месяцев это первоочередная тема публичных дискуссий, выступлений политиков, телевидения, радио. Постепенный подъем напряжения окрашивает обыденную жизнь. На нашу предвыборную месиловку это похоже, как баскетбол «Буллс»-«Лейкерс» на масленичное карабканье по скользкому столбу за подвешенными к верхушке сапогами. Как биржевые операции – на подростковую игру в пристенок.

NYU очень большой и богатый университет. Кампус занимает несколько кварталов, город в городе. Расположен в известной на весь мир Гринич Вилледж: нью-йоркские интеллектуалы, творческая богема, пожилые хиппи. Главные корпуса вокруг Вашингтон Сквер. Это в самом деле то, что и по-русски называется сквер: засаженная деревьями метров сто на сто площадь. Можно посидеть на скамейке, можно на траве. Кто-то читает, кто-то что-то пишет. Любители играют в шахматы – на деньги. Скейтбордисты прыгают через все предоставляемые им препятствия. Главное все-таки быстрая уличная продажа-покупка наркотиков. Продавцы не очень и скрывают, чем занимаются: идешь мимо и с разных сторон от разных людей, преимущественно черного цвета, слышишь: смок, смок. Останавливаются машины, часто шикарные, выходят люди с серьезными лицами, вопрос, ответ, денежка, пакетик. Ездит полиция на специальных мотороллерах, позволяющих гнаться по узким аллеям за выслеженным нарушителем закона. На атмосферу романа Генри Джеймса «Вашингтон Сквер», написанного в 1880 году, не похоже. Но дух исключительности места явственно ощутим. Когда мы въехали в университетскую квартиру по адресу Вашингтон Сквер Плейс дом 2, я твердо знал, что более знаменитого адреса у меня в жизни не будет.

Рассказываю об этом, чтобы дать понять, что и привратники здесь при всей их услужливости и вышколенности несут на себе отпечаток особенности этого района: что их не с улицы нанимают. Входя, я поинтересовался у нашего, его ли кандидат выиграл: тот ли, за кого он голосовал. Он вызвал мне лифт и произнес подчеркнуто учтиво: «Профессор Найман, я никогда не обсуждаю своих политических, нравственных и сексуальных пристрастий».

В том году мой семинар назывался «Введение в русскую поэзию». От Кантемира до Мандельштама. Записалось два десятка ребят и девиц самого разного происхождения, от детей техасских нефтяников до марокканских принцев и русских с Брайтон Бич. Я должен был постоянно держать их внимание на том, что говорю, – своего рода спортивное состязание. Их – это всей аудитории и *каждого*. Как только чей-то взгляд отключился, изволь по-прежнему энергично, по возможности весело продолжать для всех тему и одновременно заняться им одним, ему что-то специфически заостренное, по возможности веселое сказать, спросить, за него ответить. При этом Кантемир и Мандельштам гнут свою линию, капризничают и чудесят, а твой английский – свою и тоже капризничает, и тоже чудесит. Бег собачьих упряжек, в котором главное – чтобы всем бежать *хотелось*. Чтобы работало не твое обаяние, умение и знание, а твоя *персоналити*. И чтобы, когда занятие кончится, от дров не оставалось ни щепки, а ты еще пылал.

В семинаре была девушка лет 22-23-х из, как выяснилось вскоре, богатой американской еврейской семьи. Откуда-то со Среднего Запада. Мама однажды приехала проведать дочку и не

поленилась прийти в университет познакомиться с моей персоной, о которой та, оказывается, что-то для меня лестное ей рассказывала. Стояла теплая весна, в сквере уже зацветали крокусы, но на маме была шубка. Пока она говорила комплименты, я, не отрываясь, смотрел на это невероятное произведение природы и искусства. Ни до, ни после мне ничего сколько-нибудь сравнимого не встречалось. Впечатление было такое, что на мех скинулись самые редкостные звери, а на фасон самые изысканные кутюрье.

Раз в неделю у меня были так называемые приемные часы для бесед с желающими. В конце семестра пришла эта девушка. Посоветоваться. До и во время выборов она состояла в команде кандидата в сенаторы штата Нью-Джерси. Кандидат прошел. Теперь он предлагал ей перейти на работу в его администрацию. Она была не против, но в то же время хотела продолжать академическую карьеру. Что я по этому поводу думаю? Боясь ответственности, я отвечал уклончиво. То есть нечестно. С одной стороны, с другой стороны. Доводы в пользу того, доводы в пользу этого. Самое решительное, что я позволил себе сказать, это что, встав на эскалатор политической деятельности, она так и поедет на нем до конца жизни, тогда как от деятельности научной можно при желании отказаться, поменять без ущерба для судьбы. Я увидел, что у нее глаза на мокром месте. Все происходило при полуоткрытой двери в коридор – такое там правило: чтобы преподаватель не совершал сексуальных домогательств, а студент, если их не было, не мог его обвинить. Так что, хотя я был тронут, слезы были мне ни к чему. Она сказала, что выбирает продолжать аспирантуру, писать диссертацию. Мы пожали друг другу руки. На завтра я нашел в своей почтовой ячейке письмо: она очень меня благодарит, но по зрелом размышлении все же двигает к сенатору.

Я о ней вспомнил, когда узнал, что демократы сейчас получили сенатское большинство в один голос. А голос этот, по моему убеждению, конкретно Джо Либермана. Поскольку он шел как кандидат независимый, но голосовать будет заодно с демократами. Из такой же семьи, как она. И, возможно, в молодости тоже выбиравший между политикой и чем-то еще. И с выбором, как мы видим, не прогадавший. Надеюсь, что и моя аспирантка в скором времени чего-то такого добьется. Ей сейчас должно быть уже под 40. Если начистоту, политика в Америке интереснее науки. Смена партий вносит в жизнь остроту и разнообразие, это отнюдь не шило и мыло, как у нас их подают.

6-12 декабря

В речи, произнесенной на торжественном собрании в годовщину смерти Пушкина, Александр Блок назвал три дела, возложенные миром на поэта:

«во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают;
во-вторых, – привести эти звуки в гармонию, дать им форму;
в-третьих, – внести эту гармонию во внешний мир».

Блок был одним из русских «великих» поэтов. Я беру это слово в кавычки потому, что оно мало что реально передает или объясняет. Но я им пользуюсь потому, что оно лучше других отвечает представлению людей о поэте бесспорном. О поэте, представляющем за поэзию во всей ее полноте. Это было последнее публичное его выступление, через полгода он умер. Так что у нас есть все основания рассматривать его слова как завещание, оставляемое поэтам следующих поколений.

Поэзия не только стихи. Мы несомненно знаем, что она окружает нас и что мы с ней соприкасаемся и помимо них. Мы ощущаем ее магию и власть, когда кого-то любим или ненавидим, когда вид природы или произведение искусства погружает нас в радость или печаль, когда событие отзывается в нас восхищением или страданием. Другими словами, поэзия, как и музыка, есть некая разлитая в мире субстанция. В отличие от субстанций света или запаха она не может быть описана физической или химической формулой. Ее формула – она сама, когда ей удастся выразить себя стихотворением. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». Все, что мы можем про эту горстку слов сказать, будет менее внятно, более расплывчато, запутанней, чем они сами. Как любое описание простейшей насвистанной мелодии будет лишь неуклюжей тенью ее.

Но в отличие от музыки поэзия еще и речь. Ее материал – язык, и она обращается к нам понятным нам образом. Мы настроены ухватить ее содержание. Это не значит, что поэт пишет «содержательно». Он ловит звук. Звук находит себе место в слове. Но он первичнее слова. «И звук его песни в душе молодой остался – без слов, но живой». Это о нем Блок сказал, что он существует в своей безначальной стихии независимо от нас. Мы можем называть ее как угодно: космической, надмирной, эфиром, музыкой сфер. Как всякая стихия она живет в своем ритме, нам недоступном. Поймав звук, как радиоволну, поэт чутьем находит соответствующий ему земной ритм. В нем эти звуки непреложно встраиваются в систему человеческой речи. Таков таинственный дар поэта. Я наблюдал, как Ахматова во время разговора вдруг начинала еле слышно «гудеть», как пчела в отдалении, и это был знак прихода стихов. Ее черновики полны сделанных ее рукой пунктиров, означавших, что, зная ритм, она еще не знает конкретного слова.

Только проходя эти стадии, стихотворение превращается в сгусток речи исключительный. Оно остается в рамках речи, но речи такой, которая в его рамках делается непрекращаемой. Стихотворение – это определенное количество строчек, на протяжении которых язык становится законом. Поэзия – это искусство, которое своей силой такое преобразование языка осуществляет. Он становится законом не только потому, что сказанное им неопровержимо: «глагол времен, металла звон». Но и потому, что ни одно слово в сказанном, ни порядок их нельзя поменять.

На передний план выходят, таким образом, отношения, в которых находятся язык и поэт. Цветаева как-то раз заметила, что внешне Пастернак похож одновременно на араба и его коня. Это сходство много глубже фотографического. Когда конь – язык, а поэт – всадник, то кто выигрывает дистанцию? И здесь имеет смысл обсудить тот замечательный феномен, что три выдающихся русских поэта XX столетия – Мандельштам, Пастернак и Бродский – евреи.

Ярче, ясней, точней, неоспоримей остальных изображает коллизию Мандельштам в «Шуме времени». Он вспоминает «неуклюжий и робкий язык говорящего по-русски талмудиста». На нем, как правило, изъясняется первое русскоязычное поколение семьи. Предыдущее пользовалось еще исключительно идишем, через пень-колоду могло понять по-русски самые простые, необходимые в практическом общении вещи и худо-бедно ответить. У отца Мандельштама был «совершенно отвлеченный, придуманный язык, закрученная речь самоучки» – что по-русски, что по-немецки. Зато «речь матери – ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси», «словарь ее беден и сжат», но это «литературная великорусская речь». Второй язык, идиш, лишь мешает, приводит к путанице – вроде той, что у нас сейчас с рублями и долларами, второй валютой. Кроме того, его ограниченность и искусственность в новой действительности XX века становилась сродни ограниченности и искусственности «советского» языка.

В такой семье рождается мальчик с небывалой поэтической одаренностью и соприродностью языку. Идиш исключен из его детского обихода, обучение древнееврейскому только в тягость и быстро сходит на нет. Мальчик растет жадным до языка, остро чувствуя его свежесть, новизну – как первый из рода, для кого дом не недвижимость, имеющая банковскую цену, а единственное место жизни: сама жизнь. Слово для него – строительный камень этого здания. И происходит это без противостояния роду, крови, вере, как у тех выходцев из провинциального еврейства, которым «костыль отца и матери чепец – все бормотало мне: подлец, подлец». Наоборот – когда в «Четвертой прозе» Мандельштам пишет: «моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей» – то это кровь овцевода, патриарха и царя Давида. Она-то и дает ему чувство масштаба и калибра применительно к поэзии, поскольку Давид еще и величайший поэт.

Эту ситуацию можно перенести и на становление поэтической судьбы Пастернака с той поправкой, что для него слово – камень драгоценный. Что касается Бродского, то его родители говорили на живом языке русских интеллигентов. Лишь спецификой тем и подхода к ним их речь нет-нет и выдавала свою общность с еврейской средой. Скорее, их сын сам подчеркивал свое происхождение манерой чтения, картавой и напевной. «Завывал, как кантор в синагоге» – сообщал донос о его выступлении. Чем опять-таки заявлялась преемственность от Псалмопевца – и сознательно утверждалось во враждебном мире цветаевское «все поэты – жида».

2007 год

10–16 января

В конце прошлого года телеканал «Культура» показал документальную киносерию с несколько вычурным названием «Двойной портрет в интерьере эпохи». О судьбах деятелей культуры или, если угодно, о взаимоотношениях творца и власти при советском режиме. «Поэт и царь» – противостояние из универсальных. Если не считать считанных благополучных его исходов в малых княжествах Европы в пору Ренессанса, единственным абсолютно гармоническим его разрешением было правление Давида, совмещавшего в себе обе ипостаси. Нынешнее положение искусства, его зависимость-независимость от власти у нас в России тоже нуждаются в объяснении. В этом смысле показ фильмов кажется достаточно актуальным. Я намерен обсудить два из них – в этом и следующем номерах газеты.

Открыл серию фильм Галины Евтушенко (она продюсер всего проекта) «Горе уму», или «Эйзенштейн и Мейерхольд». «Горе уму» – промежуточное, от Грибоедова идущее, название его знаменитой комедии «Горе от ума». Одновременно хрестоматийной – и для театра в продолжение почти двух столетий авангардной. В 1928 году ее под этим названием поставил Всеволод Мейерхольд. Для фильма, заостренного на его и Эйзенштейна судьбах, и шире, на времени набиравшего силу государственного террора 1930-х годов, название лобовое, но эта прямолинейность оправдана главным, определяющим эпоху словом – Горе.

Произведение искусства – как, впрочем, и любая речь, жест, поступок – не всегда сообщает именно то, на что рассчитывает автор. Взять ту же комедию Грибоедова: в школе нам объясняли, что она обличает буржуазно-помещичье общество. Но ведь и главный герой, бичеватель его пороков, может вызвать нерасположение как разрушитель уютного уклада жизни. Фильм представляет Мейерхольда и Эйзенштейна жертвами бесчеловечного режима. Думаю, это натяжка, их судьбы несопоставимы. Мейерхольд – жертва, так сказать, образцовая, и именно как человек искусства, и именно захваченная мясорубкой власти. Одна из крупнейших и самых заметных. Неприятности и невзгоды Эйзенштейна вполне уравниваются степенью его официального признания и не выходят за рамки среднестатистической биографии деятеля искусств. Я не увидел в Эйзенштейне жертву.

Давайте с самого начала условимся, что мы говорим о них не как о реальных Всеволоде Эмильевиче и Сергее Михайловиче, проживших такие-то конкретные жизни, про которые мы что-то знаем помимо фильма. А только как о персонажах, действующих в нем. Мы видим Эйзенштейна, талантливую личность, тонко чующую дух революции, приветствующую и, что самое существенное, составляющую его. С первых своих работ он играет роль эталона новой кинематографии, он сам и есть революционное кино. В 1970-х годах в Италии появилась серия фильмов с комическим персонажем Фантуцци, действовавшим и рассуждавшим, не соотносясь с общепринятыми оценками. В одном из фильмов он говорил: «Я больше никогда не пойду на «Броненосца «Потемкина»», я терпеть его не могу, и эту лестницу, и этих матросов, и все его величие». Как окончивший Высшие сценарные курсы, я знаю, что такое монтаж, ритм смены планов и прочее, в чем Эйзенштейн был гений. И я низко кланяюсь Фантуцци, который взял на себя сказать такое про «лучший фильм всех времен и народов». «Броненосец» – средоточие кинематографических достоинств. Но исключительно для киношников. В нем нет обаяния. И дело не в том, что он дитя своего времени. «Аталанта» француза Виго вышла на экраны в те же годы, но смотрится сейчас с неменьшим, чем тогда, волнением.

Это качество всех эйзенштейновских фильмов: насыщенность великими киноидеями, демонстрация великих кинодостижений – и отсутствие обаяния. Что после «Октября», что

после «Ивана Грозного» из зала выходишь, как с сеанса зомбирования потоком великолепно иллюстрированных концепций, схем, намеков на какие-то постановки кремлевского Политбюро. Не говоря уже про откровенно фанерного «Александра Невского».

О Мейерхольде никак не скажешь, что он был чужд духу времени, и наоборот. Достаточно одной его фотографии в форме красноармейца и посвящений Троцкому. Но он был – Артист. В театре, в искусстве, в политике, в жизни. Как говорил Блок о Комиссаржевской, у него глаза художника и голос художника. На знаменитом, несколько раз возникающем в фильме снимке, на котором Эйзенштейн и Мейерхольд сфотографированы вдвоем, первый может быть кем угодно: частным человеком, буржуа, начальником, режиссером. Второй артистичен до кончиков пальцев: выражением лица, поворотом головы, изгибом туловища, неслышной нам репликой, обращенной к кому-то рядом. Фрагменты его постановок бьют током и завораживают. Глядя на них, понимаешь, что театр и есть он, Всеволод Мейерхольд. Со всей своей литургической подоплекой и площадной буффонадой. Понимаешь, как он покорял и публику, и товарищей по цеху – из которых подавляющему большинству эстетически был враждебен.

Мейерхольд был олицетворением *человека играющего*. Я имею в виду игру не актерскую, а ставший философским термином подход человека к творчеству. Как его фотографии с другими людьми, с труппой, с женой передают полноту образа художника, учителя, коллеги, мужа, так предарестная и особенно тюремная выражают завершенность образа жертвы. И не только той, которой сделало его время, но и той, которую художник его ранга приносит искусству, отдавая ему себя до «полной гибели всерьез». Эйзенштейн в этом смысле явился олицетворением *человека конструирующего*. Сильнейшая сторона его творчества – выверенность элементов и их соотношения. Игра – актеров, камеры – сплошь и рядом служит только приложением к такой спроектированности. И тут оказалось, что сопоставление этих двух фигур сработало-таки в фильме.

Как ни указывать зрителю на то, что у Эйзенштейна на вручении Сталинской премии иронический взгляд, мы видим его просто довольным, одним из группы награжденных. Каким скорбным голосом ни говорить о его смерти, на нас производит впечатление мраморная лестница правительственного дома, по которой он поднялся, и то, что он умер в своей спальне. Это не зарезанная «неизвестными, проникшими в квартиру» жена Мейерхольда. И тем более не сам он, расстрелянный в затылок и сброшенный в яму. Вот и выходит, что тем, что сказано и показано в фильме Эйзенштейном о себе, так резко оттеняется обреченность и гибельность судьбы Мейерхольда.

31 января – 6 февраля

Год – из которого мы прожили уже месяц – обещает быть горячим. На Ближнем Востоке в первую очередь. А поскольку это *очень* ближний Восток – ко всем странам без исключения, – то, стало быть, везде. Но пока это лишь прогнозы, и какие реальные события будут 2007-й разогревать, сейчас мы можем только гадать. А вот в какое из них будет вбухано несоразмерное количество топлива, знаем несомненно: в выборы Государственной Думы.

Хотя выборы уже не выборы: официально объявлено, что на них можно не приходить, засчитают при любой явке. И выбирать будем не из *кого*, а из *чего*: из корпораций «агитаторов, горланов, главарей», как позволил себе выразиться поэт. И результаты заранее известны: Единая. Но мероприятие запланировано, деньги отчислены, значит, кому-то оно нужно. Если не народонаселению, то, выходит, власти.

Есть власть. Сосредоточенность в одном месте всяческих способов распоряжаться другими.

И есть судьба. То, во что складывается жизнь каждого существа.

Власть безлична. Один ее вид отличается от другого вторичными признаками: окраской, чертами, особенностями.

Судьба – категория исключительно личная. Даже когда говорят, например, о жертве массового уничтожения «разделил судьбу миллионов», ничей путь к смерти, смысл смерти и сам миг смерти не повторяют чьих-либо других.

Миллионы судеб – одна власть. Противоречие очевидное. Власть должна привести их к своему знаменателю. Или они должны ее одолеть.

Я жил при шести режимах: Сталина; Хрущева; Брежнева; Горбачева; Ельцина; Путина. (Андропова и Черненко отбрасываем как невыразительные). Сталинский был, если не разводить турусы на колесах, беспримесно злодейский. Но затем власть – не знаю, как сказать: пришла, привела себя – в более пристойный, пусть хотя бы внешне, вид. Смыла с рук, что там у нее было на руках, подпилила клыки, когти. Не из благих намерений, а и над кем властвовать стало не хватать, и у самой уже тех сил не было. Распускаться, само собой, не давала, но, так сказать, необходимые ограничения на себя ввела.

Сталинская власть была власть-насилие. Цветущее, роскошное, беспредельное. Выведенное почти в область мистики: не виноват – ищи себе вину. Разработанное с шиком, как религия: ради будущего блаженства и ради сегодняшнего счастья – которое если не видишь, то вот тебе и вина.

Хрущевская была власть-угроза и потому власть-каприз. Что-то вроде «булыжник – оружие пролетариата». Есть камень, но нет улицы, чтобы им мостить, – значит, замахнуться. Есть ракета, но, если по-честному, нет реальной цели – значит, возить ее до Кубы и обратно.

Брежневская – власть-начальство. Галерея лиц, вывешенных по городам на праздник. «Не надо нарушать». «Саша, Дубчек, как ты мог?! Мы же соцлагерь!» Никита по Венгрии стрелял потому, что а как не стрелять, – Леонид Ильич по Праге потому, что должен быть порядок. Отсюда, работа власти, почти целиком направленная на обеспечение самое себя собою.

Власть Горбачева была демонстрацией своих размеров: сколько она может себя лишиться, продолжая оставаться властью. Нечто абсолютно новое. Неввод армии в Польшу, уход из Афгана, возвращение Сахарова... Освобождение политзаключенных, потеря Прибалтики (конечно, монтировкой отмахнулись, но ведь рефлекторно и ведь только до первой кровянки)... Оказалось, что власти полно: до бесконечности и все еще имеется.

Ельцинская была единственная, учитывающая свободу как непреложную свою компоненту. Не уступающая ее гражданам вынужденно или по желанию, а заинтересованная в ней

для собственной крепости. И крепости не накаченных мышц, а нормально здоровых и нормально сильных от обыденных нагрузок вроде прогулки и дачной грядки.

Путинская – власть как власть. Претензия к ней одна: за образец политического и морального курса, ума, вообще всех установок и качеств, взяты те, что были выбраны и воспитаны в кабинетах и коридорах КГБ. То есть хочешь не хочешь ориентированные на насилие. В этом смысле психологически, а отчасти и метафизически, нынешний режим на тех же инструментах, что и сталинский, играет звонче, чем четыре предшествующие. Он не способен принять вызов Ходорковского, как принял американский президент вызов Рокфеллера: вступая в борьбу, но не сажая для достижения победы в железную клетку. Если он приструнивает кого-то, то непременно показывает, что приструненные унижены и напуганы (групповой портрет олигархов, согнанных за овальный стол), а он – тот, кто унижает и пугает. Уважительно, как какие-нибудь не менее властные Черчилль или Де Голль, он не умеет.

Насилие – как постоянное устрашение и как практика – было объединяющим стержнем всех этих режимов. В плане личном их объединяет еще то, что конкретный человек умудряется жить как бы вне их. С начала мая по конец сентября – считай, вообще по своему усмотрению. При удобном случае сматывается из города, копается в земле, ходит по ягоды, топит баньку. Телевизор сам по себе, народ сам по себе. Это наводит на мысль, что так можно прожить и с конца сентября до начала мая. Прожить судьбу не навязываемую, а собственную – родную, единственную, не имеющую шансов повториться.

Интересы власти могут быть самые разные, от шкурнических до идейных. Цель – одна: она сама, власть ради власти. И метод – все равно, через насилие или через демагогию и отдает она себе в том отчет или нет – один: отчуждение человека от судьбы. Но мы не космические орлы, не воры в законе, не головы на экране, на которых нас призывают равняться. Мы жильцы домов, едоки за столом, уличные прохожие, огородники, счетоводы. Мы восторгаемся или ужасаемся новостям реальным. Свадьбе, разводу, чьему-то рождению, болезни, удару по мячу, августовскому грибному буму. Только из этого, из того, как мы это проживаем, как переживаем, что обо всем этом думаем, и складывается наша судьба. Лишь это нас до самой смерти волнует, лишь этим мы перед немислимым фактом нашего рождения отвечаем, лишь эту тайну разгадываем... А Дума – ну совсем чужая нам территория. Мне, во всяком случае.

21–27 февраля

До Пушкина уже добрались! 10 февраля, вечером, на канале «Россия». Фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Кто добрался? Догадаться с одного раза. Только не делайте удивленные глаза: неужели, мол, евреи? А кто, по-вашему? Они! Точнее (если следовать незамысловатой политкорректности фильма), «чужаки», возглавляемые ими. Дантес, Геккерн, Бенкендорф, парочка-тройка идущих у них на поводу с русскими фамилиями вроде Уварова и Строгановых – и главный еврейский злодей Нессельроде, висячий нос, акцент отнюдь не австрийский. Министр иностранных дел Российской империи, Карл-Роберт Васильевич. Графского причем рода. Восходящего к XIV веку. Ну, это он, как все *они*, для прикрытия. Нас не обманешь: мамаша была евреечка. Протестантского, конечно, вероисповедания, но кому вы это говорите? Авторам фильма «Пушкин. Последняя дуэль»?

Увы, на этом мой фельетонистский запал гаснет. Фильм в любом качестве: как произведение кинематографии, как вклад в русский национализм, как демонстрация изобретательности сюжетной интриги – убожество. Высмеивать его – все равно что высмеивать немощного, больного, жертву аварии. Представление авторов о Пушкине, о поэтах вообще, о царе и вельможах, о III Отделении, о светском обществе неисправимо.

Пушкин реальный мог быть бешеным, но никогда истериком. Блестящим собеседником, язвительным остроумцем, но не записным остряком, суетливым зубоскалом. Бесстрашным человеком чести, но не лезущим на рожон идиотом на высокосветском рауте. Он был безукоризненно воспитанным завсегдатаем салонов, а не рискованным парнем с уголовными прихватами из телесериалов. «З-з-загрызу!» – рычит он про своих врагов. Ну заодно уж и «пасть порви».

Пьяный выход поэта Вяземского в распахнутом халате к жандармскому генералу невозможен так же, как приезд этого генерала к нему домой для допроса. Вяземский не хам с Рублевки, тем более не пшют из буфета ЦДЛ, он аристократ, одна из самых неприступных фигур петербургского света. Жуковский не член Союза писателей, признательный чину из КГБ за то, что тот с ним разговаривает, это личность редчайшего интеллектуально-душевного склада, воспитатель Наследника престола. «Наши поэты сами господа» – как говорит один из пушкинских героев.

Фаина Раневская рассказывала, как на заре кино она играла в массовке фильма из «великосветской жизни», и режиссер, недовольный инертностью толпы, закричал: «Общайтесь, общайтесь, обращайтесь друг к другу!» После чего к ней наклонился сосед, изображавший кого-то такого же, как она, и, вертя в пальцах папироску, прохрипел: «Графиня, р-ршите прикурить». Ровно так выглядит и ведет себя петербургское высшее общество в «Последней дуэли», с такой же оттяжкой разговаривает. Водопроводчики, наряженные в тот же хлам из реквизита «Мосфильма». Не поэтому ли лакеев в фильме нет как класса? Пушкин говорит жене: «Ща принесу мороженое» – и куда-то, в представлении режиссера, вероятно, к кэйте-ринг-команде, обслуживающей фуршет, уходит.

Здоровую, обнадеживающую часть нации представляют, кроме главного героя, следователь III Отделения, царь Николай и, прежде всего, упомянутый жандарм, Дубельт. Это он открывает глаза прочим персонажам на то, кем те объективно являются и какие ошибки успели допустить. При этом строжайше придерживается закона. В общем, он тот, кому еще больше полутора веков пришлось ждать, чтобы стать властью официальной: холодная голова, чистые руки, горячее сердце. Вот оно откуда, оказывается, идет: Тайная Полиция в качестве правительства.

Царь внешне фактурен. Когда начинает говорить, интонации выдают не совсем царя, скорее кого-то вроде наемного танцора – каковым он себя через некоторое время великолепно и показывает. Царь любит этого своего Пушкинчика, но нетверд в установках: «чужаки» сбивают

его с толку. Он встретится с поэтом в безлюдном Летнем саду, чтобы из первых рук воспринять от него мудрость. Безлюдье обеспечивается той же полицией. Народ терпеливо ждет у ограды, чтобы хоть одним глазком увидеть императорское величество. Рейтинг царя высок. Рейтинг Пушкина тоже. Собственно говоря, у них равные рейтинги: все собравшиеся в Летнем саду потом приходят нести гроб поэта. (Ой ли? – так им и дали.)

Следователь III Отделения кричит на Дантеса: «Я таких, как ты, в 12-м году пачками стрелял». Имеется в виду 1812-й. В 1917-м он тоже пачками стрелял. По крайней мере, звучит до боли знакомо. Возможно, потому, что в недавнее время эти же артисты играли бандюков, пачками стрелявших в фильмах типа «Брат» и «Бригада». Безруков и Сухоруков. Еще есть Долгоруков, он приставляет к голове Пушкина рожки. (Ну прямо: небось, не в пивной дело было.)

Следователь приходит также на гауптвахту, куда враги запсотили Лермонтова. Просто подбодрить, по-дружески. Чем и доказывает, что не мог Лермонтов сочинить плохое про «мундиры голубые», это ему кто-то из Нессельрод подсунул. А поскольку заключенный вынужден писать, как Ленин, жженой спичкой на коробке, гость тайно оставляет ему карандаш. Подозрительно похожий на те, что бесплатно предлагаются покупателям в «Икее». Пушкин и Лермонтов в одном фильме могли бы наконец подтвердить, что анекдоты про них – чистая правда: непонятно, почему эта возможность упущена. Как бы хорошо: «Пушкин, где вы?» – «Во мху я по колено».

Лермонтов, молодой и горячий, не допетривает, зачем *эти* убили Пушкина. Следователь объясняет: сперва уничтожение лучших умов России, а затем уже влегкую – чужеземная интервенция. Первая часть, судя по фильму, осуществлена успешно: режиссер Наталья Бондарчук и ее киногоруппа – это все, что осталось. Представителей обещанной интервенции не видать.

В последнее время усилилось очернение имиджа России международной закулисой: какие-то якобы пьянки и блядки на австрийских курортах. Хочу возмутиться, и не получается. Если национальный поэт России таков, как в «Последней дуэли», если таковы лучшие из ее знати и интеллектуальной элиты, обижаться не на кого. Правда, мы понимаем, что фильм сделан исключительно для внутреннего употребления. Такой плакат с указующим перстом «Ты записался в добровольцы?» – борьбы с инородцами.

7–13 марта

Некоторое время назад в мировое медиа-пространство было брошено такое сообщение об арестованном банкире Алексее Френкеле. Что еще в начале января обыскная группа Прокуратуры нашла на его тайной даче могучее сексуальное оборудование.

Это перебор. И, по моим представлениям, знак, необсуждаемо указывающий на фальсифицирование дела и подавление его методом, напоминающим дедовщину. Я понимаю, если бы он этими найденными у него инструментами совершил убийство, в котором его обвиняют. Но об этом известий нет. И потом – что это за тайная дача? Что вообще означает это сочетание слов? Что он, Сталин с тайной дачей в Кунцеве?

Мы слышим о каком-то событии, скажем, убийстве, его показывает телевидение, о нем говорит радио, пишут газеты. Это привлекает наше внимание. Правда, умеренное: ничего существенно нового, такова повседневность, мы к ней привыкли. Но вдруг мы замечаем, что в том, что и как нам преподносится, концы с концами не сходятся. Больше того, мы видим, что нас водят за нос, и намеренно. Это нас заинтересовывает сильнее, чем само событие, мы хотим сообразить, как оно могло быть на деле и почему нам заправляют туфту. Мы включаем воображение, оно рисует картину. Не стопроцентно убедительную, но куда убедительнее предлагаемой. Мы проверяем ее нашим знанием действительности, скрытых пружин, приемов, мотивов, людской психологии. Что реально произошло, мы все равно не узнаем: слишком мало сведений, фактов. Встречаться с подозреваемыми, как это сделал в свое время американский писатель Трумэн Капоте, хотевший разобраться в обстоятельствах заурядного убийства, никто нам не даст. Да мы и не хотим. Так что правды мы не добьемся. Но есть шансы перестать сомневаться в неправде.

Первый раз я услышал слово «арест» в три года. Что это такое, я, разумеется, не понял. Понял года через четыре. «Арест» был маминой подруги, они вместе учились медицине в университете во Франции. Через несколько месяцев, когда Берия заместил расстрелянного Ежова и демонстрировал восстановление законности, ее выпустили. Она пришла к нам в гости, маленькая, худенькая и не скажу веселая, но смешливая. Рассказывала, что ее объявили японской шпионкой, и смеялась. И родители с ней смеялись. Не скажу, что весело. А я – весело. А года через четыре понял, что именно было смешно: что вот эту крохотную птичку из детской районной поликлиники можно было выбрать на роль шпиона. Страшного, обвешанного гранатами и рациями чудища, с которым может справиться один только пограничник супермен Карацупа и то лишь при помощи уникального кобеля по кличке Индус. Причем шпионить ей положили не в пользу какой-нибудь нежной Франции, а в пользу ужасной Японии, про которую даже мне было известно, что ее жители – самураи, постоянно делающие себе харакири. То есть смех вызывало и то, что *они* ее выбрали, и то, что *мы*.

Ближе к окончанию школы я уже лично знал и учителя истории, забранного ночью из дому – за космополитизм, и, мельком, десятиклассника из соседней школы – за декламацию поэмы Есенина «Пугачев». В 1956 году арестовали и посадили: в Ленинграде Красильникова – с которым в общей компании выпивали, в Москве – Черткова, с которым в общей компании читали стихи. Тот и другой были пристегнуты к венгерской революции: как говорится, «сам Бог велел». И с тех пор не было – за вычетом горбачевского и ельцинского правления – такого периода, чтобы кого-то из близкого, а то и ближайшего окружения не похватывали и не отправляли в места отбывания наказания. Пятьдесят лет назад я писал письма по адресам вроде Пермская область, п/о Копально, учреждение № такой-то – и сейчас пишу.

Сообщаю все это с единственной целью убедить публику, что имею в этой области кой-какой опыт и знаю что-то, с чего меня нельзя сбить. Например: уже в начале 1970-х человека забирали не за то, что он встречается, гуляет и разговаривает с иностранцем. Хотя причина

была именно эта. Но не было в уголовном кодексе такой статьи. Поэтому при обыске ему подбрасывали наркотик, за хранение какого и судили. Или приставали на улице, и судили за драку. Или подсылали несовершеннолетнюю особу, и судили за разврат. Или просто говорили, что у него вялотекущая шизофрения, и запирали в психбольницу без срока. Метод какое-то время себя оправдывал, но слишком много появилось разоблачений, за границей, как всегда, возмутились, и пользоваться им стали много реже.

Арест за сокрытие доходов, ведущее к неуплате налогов, открыл новые возможности – как принято выражаться, поистине неисчерпаемые. Главное, что за границей поймут и не вякнут, у них там это святое дело. Разобраться во всех цифрах ни одному иностранному адвокату не по силам. Цифры могут каждый день меняться, а виза может каждый день закрыться. К тому же есть зоны юридической неопределенности. Скажем, я чиновник, получил взятку: облагается она налогом? Можно меня засадить за уклонение от его уплаты, или как? А если я просто тяпнул бумажник, и в нем кое-какая сумма денег, надо мне записывать ее в налоговую декларацию и вносить в казну 13 процентов? В общем, темна вода во облаках, и правосудие тут может гулять, как купец на масленицу.

Когда меня, такого, какой я есть, прожившего в этой стране с детства до старости, осведомляют об аресте Френкеля, мое воображение – заметьте, строго контролируемое моим опытом, – представляет случившееся не совсем так, как предлагают люди в мундирах и комментаторы в пиджаках. Я вижу, что главный начальник велел найти убийц банкира Козлова. А это означает, что тут дело не в найти, а в отпартовать. Козлов же попал в фокус потому, что складывается нужный список: Козлов, Политковская, Литвиненко. Со злодеем Березовским за кулисами. Френкеля хорошо во все это вставить потому, что чересчур шумно для занимаемого им скромного места разоблачает. Ну, и потом Березовский – Френкель с Ходорковским на заднем плане выстраиваются в неплохую вертикаль зла, нацелившуюся порушить любимую нами вертикаль власти.

Увы: захваченные в тайном бункере фаллоимитаторы – так же как японские шпионы 1930-х, тунеядцы 60-х, наркотики 70-х и налоги 2000-х – указывают на то, что не должно быть названо. Список выглядит скорее так: Политковская, Литвиненко, Френкель. С Ходорковским и Лебедевым на заднем плане.

28 марта – 3 апреля

Я прочитал книгу про еврейских гангстеров в Америке. Забористая. Решил об этом феномене, о том, как в богобоязненных еврейских семьях рождаются детки-бандиты, написать для газеты. Сказал редактору. Он говорит: «А не хотите о Парвусе и Троцком? Вы смотрели по телевизору фильмы о них?» Нет. «Я вам дам кассеты, вы увидите».

Смотрю про Парвуса, смотрю про Троцкого, типичные «двухминутки ненависти» из романа «1984». Проклинаю редактора: почему о них, а не о Меире Ланском и о Дылде Цвиллмане?

Хотя сам по себе Парвус – шикарный мужик. Авантюрист, богач, бабник. Видно, ничего на свете не пропустил: и в лучших парижских кабаках лучших блюд попробовал, и лучших вин посмаковал, и на лучших пляжах повалялся. И политикой себе кровь пополировал, и тюремной баландой не брезговал. Рисковый. По поддельным паспортам жил, не трясся – как мы с вами и по легальным-то не умеем, перед каждым вахтером вытягиваемся. На Турцию работал, прямо в самом Стамбуле – это вам не Вашингтон, не Лондон, где поймают, дадут пару десятков годков, и все дела. В Стамбуле чуть оступился, чуть вызвал подозрения, и завтра будешь плавать в Золотом Роге физиономией вниз, с ятаганом под пятым ребром.

Те, кто этот фильм делал – из хроник, из архивов, из разных собственных соображений – что-то мрачное, конечно, про него с экрана бубнят. Какой он плохой. Аморальный. Шпион... Сразу скажем, насчет шпиона – неубедительно. Только нас научили, что шпион благородная профессия, что его надо уважать, называть по-научному резидентом и как таковым восхищаться, ни с того ни с сего предлагается его презирать. Что-нибудь давайте одно, а то в Абеле нашем любимом, или в еще более злободневных образцах всё им хорошо, а в Парвусе всё почему-то плохо. Даже что у него какое-то имя не Парвус, а другое, противное, нерусское какое-то, и вместо того, чтобы его по-честному носить, он Парвуса придумал, им в лом. А я не согласен. Какой-нибудь Марте, крестьянке литовской, можно перейти в Екатерины, да еще Первые, да еще всероссийские императрицы – и ничего. Какому-нибудь Джугашвили можно прозваться Сталиным, а этому – его, кстати говоря, знакомому – Парвусом нельзя? (А представляете себе: за Родину! за Джугашвили!)

И всё только потому, что он дал Ленину деньги на революцию. Сперва 75 лет твердили, что ничего лучше революции с Россией не случилось. Теперь – что ничего хуже. Надо как-то, как сейчас говорят, определиться. Я, скажем, придерживаюсь второй точки зрения. Но я ее всю жизнь придерживался. В частности, и тогда, когда кое-кто из тех, кто этот фильм делал, шли в коммунисты и обличали на собраниях таких, как я. А пройдет время, и им понадобится опять капиталистов клеймить, тогда как? Суркова, Фрадкова, а?

А Парвус, вы посмотрите! Практически в одиночку провернул такую махинацию! Миллион туда, десять сюда – и как не было патриархально-монархической сказки. Фильм сделали две дамы, одной фамилия Чавчавадзе (не хухры-мухры), другой Нарочницкая (это на вкус). Первая режиссер, ее не видно. Вторая с экрана объясняет, как и что. Лицо – пощады не жди. Такие же голос и форма одежды. Историк. Вот, объясняет, задался целью подорвать империю – и подорвал. А какая была крепкая, могучая! Фильм про Троцкого, кстати, не так удался. С экрана только и слышно: абрам, абрам, абрам. И сам на внешность неказист, и как вождь – пижон. Даже странно, что полмира десятилетиями в троцкистах ходило.

Но с подрывом империи, похоже, девушки маленько путаются. Или могучая, или немогучая. Потому что какой он ни есть Змей Горыныч, переставить задом наперед башку у 150000000 народу никому не под силу. Даже с помощью дюжины кощеев с такими же мерзкими фамилиями. Что и подтверждается. Историк объясняет, что за ним стояла Германия, тоже держава исключительно могучая. И вот все у нее удалось. В России полный бенц, рево-

люция, развал, винтовки штыками в землю. Брест-Литовский мир («похабный» – так Ильич говорил, и дамы, хоть и злейшие его врагини, с ним не спорят), армии с русского фронта освобождаются, перекидываются на западный – и-и... И еще одна могучая терпит полный разгром.

Как ни обидно у плея Парвуса эту славу отнимать, а приходится. Ибо хотя дамы – кремь, с идеи не сбиваются, но факты у них одни с другими не сошлись, и решили до конца не додумывать, махнули рукой. Потому что выходило признать, что, увы, увы, ослабела славянская империя, и тевтонская держава ослабела, и треснули обе. Как предупреждали: взят будет удерживающий, и совершится. Людей на верху не стало, на местах измельчали, крепостные распрямились, тут подгнило, там сопрело, вот и все. Никто не спорит, Парвус со своими кстати подоспели. Но это все равно что воробьев, севших на дерево, винить, что оно упало.

Понимаем, что у тех, кто делал фильм, цель была не додумывать, а заявить. И заявить, не как, что и почему случилось, а кого сейчас заказывать. Есть клубы по интересам, есть среди них большой, по интересам националистическим, для его членов и снят фильм. Жаль только, что чтобы из Парвуса и его компании сделать злодеев, пришлось из народа сделать быдло. Которому, мол, дай рубль, выйдет на улицы, за два, что скажут, крикнет, за пять выстрелит. В этом же убеждают нас сейчас политтехнологи: что мы быдло. Куда скажут, туда пойдем. Покажут фильм, как еврей Парвус, не купив, продал Россию, примем.

И никакой это не антисемитизм. О, антисемиты моего детства и юности! Брезгливая презрительность при произнесении еврейских имен. Высокомерие улыбочек, даже у простолюдинов. А вот Гимmlера или коменданта Освенцима антисемитами назвать – это как волков млекопитающими. Просто душили и жгли, чувств не испытывали.

Но это по ходу разговора. А Парвус все равно гигант! Не меньше Меира Ланского. Какими бабками ворочал, какие виллы себе отгрохал! Жалко, ничего не сказали, что у него в смысле яхт. Но и сам, и большевички его, что ни говори, команда та еще. Эта, которая делала фильм, будет послабее. Тем не менее спасибо. Княгине Чавчавадзе за изящную режиссуру. Депутату Думы Нарочницкой за владение историей. Фонду культуры во главе с Михалковым Н. С. за финансирование. Присоединяемся также к их благодарности Солженицыным А. И. и Н. Д... А как же.

Про гангстеров придется написать в какой-нибудь другой номер.

18–24 апреля

По темпераменту человечество можно грубо разделить на тех, кто предпочитает работать за зарплату, и тех, кто за гонорар. Под гонораром я разумею не назначенное контрактом вознаграждение, то есть ту же зарплату, по-другому названную. Я имею в виду заработок непредсказуемый, подверженный риску, зависимый от многих обстоятельств. Бывает, что требующий самоотдачи вплоть до самозабвения.

Такие мысли сопровождали мое чтение документальной книги Роберта Рокауэя «Зато он очень любил свою маму». Она выпущена Ассоциацией «Гешарим» (Иерусалим) / «Мосты культуры» (Москва) в 2003 году. Перевод кошмарный, но на это не обращаешь внимания, поскольку книга о разбойниках, приключенческая, летишь со страницы на страницу и за день-два всю насквозь пролетаешь.

Подзаголовок – «Жизнь и преступления еврейских гангстеров». Место действия – Америка, ее большие города. Время – 1920–1940-е годы. Мы в достаточной степени об этих делах наслышаны, о чем-то уже читали, кино насмотрелись. Но есть в этой истории один-два поворота, которые перемещают происходящее в совсем другой план. В измерение, которое никак не пересекается со стрельбой, погонями на автомобилях, кокетками, бесстрашием, жестокостью. Напротив, характеризуется исключительно нежностью, прибитостью, бедностью, душным бытом, законопослушанием.

Объяснение, согласно которому еврейского мальчика из богобоязненной семьи нищета вынуждает идти сперва на мелкое воровство, а затем объединиться с такими же в банду, готовую на любые преступления, на меня не очень-то действует. Я знаю множество людей, которые сносили нужду с достоинством, а если требовалось, и со смирением. Которые не ставили себе цели разбогатеть и были благодарны судьбе за незначительные улучшения жизни. Мои родители, инженер и врач, жили и растили нас с братом на две ничтожные зарплаты, и если в отрочестве или юности у меня возникало желание поесть побольше и повкусней, сунуть ноги в башмаки непротекающие и более подходящего размера, то соединить это с чьим-нибудь ограблением был чистый абсурд – как вам кажется?

Нет, тут натура, тут желание риска, склонность и готовность к нему. Даже меня, при моем образе жизни, далеко от крайностей, нет-нет и обдавало сквознячком азарта. За зарплату я работал всего четыре года, после института, на заводе. Остальное время – гонорары. Тут всегда сохранялась крошечная, но авантюристичность: каков будет тираж? Как на ипподроме: у тебя в кармане билет на фаворита, но и на лошадку темную. Фаворит – два рубля за рубль, темная – неизвестно сколько. Интерес не столько в деньгах, сколько в том, какой сработает вариант. От волнения ты получал удовлетворение особое, которое не пересчитывается на деньги.

Чтобы вообразить, что испытывает тот, кто, как выражается персонаж Бабеля, «скандалит на площадях, а не за письменным столом», умножим это волнение на тысячу, на миллион. То, что следствием такой жизни становятся особняки, лимузины, кабаки и платиновые блондинки, для этих людей тоже очень привлекательно, но не это лежит в основе. Разумеется, пока процесс развивается, меняются цели: это уже бизнес, корпоративные связи с крупными дельцами, не говоря о круговой поруке. С годами устаешь, хочется выйти из постоянной гонки, к тому же смертельной. Однако кровь уже привыкла к повышенному содержанию адреналина, это кайф ни с чем не сравнимый.

Вспомним Беню Крика, Фроима Грача, «Одесские рассказы», могучий фольклор черты оседлости. Дерзкие, пылкие, хладнокровные, красноречивые, как поэты, яркие, как птицы, яростные, как звери, налетчики. «В нем десять зарядов сидит, – описывает красноармеец одного из них, только что застреленного, – а он все лезет». Это те же Красавчик Эмберг и Бешеный Сигел, перенесенные в Нью-Йорк и Чикаго. Та же речь. «Теперь пройдемте, – при-

глашает одесский «король», – к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса». «Артур, – говорит один нью-джерсийский гангстер другому, – засунь пистолет себе в рот и проверь, сколько раз ты можешь выстрелить».

И вот эта невероятная, знающая только перестрелки и убийства публика, встречаясь со своей патриархальной, придавленной заботами, невзрачной родней, превращается в послушных, почитающих старшего, услужливых сыновей и племянников. Отнюдь не потому, что таким поведением они хотят загладить свои грехи и преступления. Просто у «идише киндер» это в крови – наравне с безудержным куражом, охватывающим их «в деле». Когда Чарли Уокмана отправляли на пожизненное заключение, он совершенно искренне наставлял младшего брата: «Зарабатываешь двадцать центов в день – и ладно. Держись подальше от бандитов и не умничай. Приглядывай за папой с мамой». Легендарный Меир Лански считал, что единственное, чего он добился в жизни, это что его сын окончил Военную академию в Вест-Пойнт – самостоятельно туда поступив, без чьей бы то ни было помощи проучившись.

Точно так же вели они себя в рамках общины. После оживления в 1930-е годы фашиствующих групп в Америке, гангстеры создали «народную милицию», наводившую на тех ужас. Во все времена они искали случая обеспечить нуждающихся, можно сказать, напрашивались в благотворители. Потому что община не очень-то и принимала деньги от таких. Известный раввин не разговаривал со своим братом-гангстером, пока тот не сказал при встрече: «Что ты важничаешь? У меня брат – раввин. Это у тебя – гангстер».

И точно так же ощущали они свое место внутри народа. Был такой период, когда США установили эмбарго против Израиля, тогда как арабы получали от них оружие. Лански связался с итальянцами, контролировавшими нью-йоркский порт. Грузы, предназначавшиеся арабам, стали бесследно исчезать либо отправляться в Израиль. Как говорит у Бабея об одном из таких старый одессит: «У него душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках».

Мы до сих пор находимся под гипнозом Шолом-Алейхема. Но его Тевье давно сплавлен с Бенчиком. Решимость, цельность, жар тех, кто сделал еврейское государство, составляет его и не дает погубить, были воспитаны не в последнюю очередь в кварталах Ист-Сайда.

20–26 июня

Интерес к событию набегают на общество волнами, гребни которых отделяются один от другого промежутками времени. Скажем, Шекспир написал 37 пьес – или не Шекспир? Сальери отравил Моцарта – или не Сальери – или вообще никто никого, а была эпидемия тифа? Боян написал «Слово о Полку Игореве» в XII веке – или Мусин-Пушкин в XVIII? Каждые 10–20 лет по этим и подобным поводам разыгрывается очередная битва, в которую с огромной охотой втягивается широкая публика. Ажиотаж продолжается несколько месяцев, после чего уходит в песок до следующего раза.

Наше событие много мельче, потому, возможно, и промежуток возврата внимания к нему много короче. В апреле Познер в своей телепрограмме «Времена» вбросил тему тайных переговоров Сталина с Гитлером в начале 1942 года. Получилось удачно, участники передачи жарко ругались друг с другом, ведущий, чтобы прервать ор, свистел. Через примерно месяц этот сюжет прокатился через газету «Известия». Теперь, то есть еще через месяц, и мы решили маленько взбурлить.

Меня почти всю мою жизнь занимает феномен фальшивки. Встречаются тайно посланцы Сталина и Гитлера. Сталинский сокол передает гитлеровскому текст кремлевских предложений. По окончании встречи пишет рапорт вождю, в котором оценивает переговоры как безрезультатные. Через 60 с лишним лет выходит книга «Генералиссимус», в которой автор публикует то и другое, предложения и рапорт. По целому ряду признаков все это фальшивка.

Но что такое хорошая фальшивка? Это такая подделка, которая, даже будучи разоблачена, оставляет впечатление стоящей за ней подлинности. Что-то вроде того, что пусть конкретно эта вещь – подделка, но реальность, которую она отражает, верна, и когда-нибудь мы столкнемся с подтверждением, которое будет абсолютно неоспоримо. Иначе говоря, нам все равно, фальшивка перед нами или не фальшивка, потому что мы вот чуем, что в ней – правда. Приведите тысячу доказательств, что «Протоколы сионских мудрецов» сочинены никакими не мудрецами, а тем-то, тем-то и тем-то евреененавистником, а только мы, пусть и вынужденные со всеми вашими доказательствами согласиться, будем «Протоколы» цитировать и на них опираться, как до сих пор. Потому что доказательство – частность, а в целом ничто нас не разуберит.

Но если «Протоколы» все-таки чересчур мифологичны и требуют веры в себя априорной, то в нашем случае предложения Кремля и неприятие их противной стороной выстроены на фундаменте правдоподобия, практически не отличимого от правды. На катастрофических военных поражениях СССР, на крайности его положения. На коварстве и полной беспринципности Сталина. На враждебности к союзникам, готовой в какую-то минуту заместить собой противоборство с немцами. На близости политических позиций и идеологий коммунизма и фашизма. Наконец, на отношении к «мировому еврейству», с немецкой стороны известно каком, а с советской пусть не истребительном, но, как говорится, почему бы нет?

Так что, если переговоров и не было, если оба документа изготовлены в собственных интересах неважно кем, энкавзедешниками или гестаповцами, неважно когда, во время войны или когда писалась книга «Генералиссимус», главное во всем этом то, что фальшивка здесь работает совершенно так же, как нефальшивка. Автор книги видит в тайных сношениях с врагом стратегическое мышление, один из телевизионных оппонентов – мудрую тактику, другой – трусость и предательство. Но нравы общества сейчас таковы, что то, другое и третье – всего лишь отметки о принадлежности к определенному списку. Я шовинист и антисемит, говорит один, я националист и патриот, представляется другой, я честный либерал – третий. И что, какая разница? Слова лишены значений. «Низость» – существительное женского рода 3-го

склонения, и «порядочность» – женского рода 3-го склонения. Ты подлец – нет, ты подлец: объявляем интерактивное голосование.

Единственная область, в которой фальшивка еще что-то значит, я имею в виду, что-то, что значила всегда, это живопись. Есть замечательный документальный фильм Орсона Уэллеса о художнике, делавшем картины, в которых нельзя было распознать фальшак. На наших глазах, в залитой средиземноморским солнцем мастерской, тот делал «матисса», объяснял и доказывал абсолютную тождественность «матиссу» настоящему, после чего бросал его в горящий камин. Это было эффектно. Зритель понимал, что происходит: какое неуловимое движение, какое нефиксируемое мгновение отделяет искусство от преступления.

Сейчас индустрия фальшаков предельно структурирована и вполне уважаема. Дилеры ведут дела, искусствоведы выдают сертификаты, коллекционеры собирают, братки регулируют. Казусов, когда из-за излишней торопливости «Сирень» Врубеля прилипла к стеклу и раме, больше не случается. Но риск есть, никуда не девался. Например, недавно один банк приторговал раннего Шагала. Проницательные историки искусств указывали, что глаза мертвоватые, не шагаловские, однако потребовался специальный анализ, чтобы обнаружить в холсте лавсан. Возник скандал – поскольку все-таки деньги.

Деньги, если приспособить к текщему моменту афоризм вождя, в наше время решают все. Если бы в историю с публикацией были вовлечены деньги, все стало бы на свои места. Определили бы фальсификацию, и никакой стратегии, ни тактики, ни предательства, ни Познера. Против денег права не покачаешь. А тут – политика, телевизор, к барьеру. Ничего, кроме базара. Ну когда взрослые мужики всерьез называют хилого, недалекого, небогатого умом старичка Джугашвили «генералиссимусом», чего вы хотите?

Такая была история, расскажу на прощание. Лагерь для военнопленных, где-то в Пруссии, сразу после войны, одни советские. Изо дня в день невероятные слухи: всех наградят орденами, всех сожгут в извести. Вдруг прибывает полковник Красной армии, сооружают трибуну. Поднимается, разворачивает бумагу, зачитывает: «Постановлением та-та-та та-та-та товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу присваивается звание *Генералиссиму-симус* Советского Союза». Слезает, уезжает, трибуну разбирают.

4–10 июля

Туре Гамсун, сын знаменитого норвежского писателя Кнута Гамсуна, незадолго до смерти написал автобиографическую книгу «Спустя вечность». По-русски она вышла полгода назад в издательстве «Б.С.Г.-ПРЕСС».

Туре Гамсун – художник: не крупный, но в своей стране художник с именем. И, условно, писатель. Не номинальный, написавший полдюжины книг, а написавший их умело и убедительно. Это вызывает к нему уважение – потому что его отец был не просто писателем, а властителем умов, и в этом случае сыну чрезвычайно трудно тоже братья за перо. Сравнение заведомо будет не в его пользу. Он, однако, вышел из положения весьма достойно. Я имею в виду, с точки зрения профессиональной.

С точки зрения человеческой – а в автобиографии художественность на втором плане, на первом исповедальная правда, – все куда запутанней. Начиная с последней трети книга приносит все больше разочарования. Дело в том, что великий Кнут, и сам Туре, и его мать, и его брат по окончании 2-й Мировой войны были признаны военными преступниками и попали на разные сроки в тюрьму. И хотя автор принимает этот трагический для семьи поворот мужественно и так же мужественно проходит через свое наказание и через боль, вызванную наказанием близких, любимых им людей, он считает, что с ними поступили несправедливо. Он оправдывается – не выдавая черного за белое, без надрыва, но оправдывается.

Он объясняет, что все они вели себя так, как вели, и говорили то, что говорили, не из выгоды или страха, а по убеждениям. Ему можно верить. 70- и 80-летнему Кнуту Гамсуну в 1930-е – 1940-е годы ничего не нужно было от Гитлера. Но он, и его жена, и сыновья были поставлены перед выбором между социализмом и национал-социализмом. Скандинавский социализм и его адепты, так же как советский и его вожди, вызывали у Гамсунов, в первую очередь у писателя могучего характера, автора замечательных книг, полное неприятие, чувство близкое к презрению. Мелкотравчатостью идей, выдуманностью установок, пренебрежением человеческой природой. Для маленькой страны Норвегии с древней и, если можно так сказать, гордой культурой великогерманская идеология как таковая выглядела духовно родственной. Она привлекала масштабностью, отвагой, идеализмом.

Как таковая. Что значит «как таковая»? Ее ядро – расовая теория. Привлекала она тех, кто был настроен прогермански, или отталкивала? Или они предпочитали ее не замечать? И еще была у этой идеологии практика. По законам человеческого сообщества – преступная. Что делать, мироустройство таково, что сплошь и рядом нам на выбор предлагаются всего две вещи, третьей кажется, что нет. Гестапо или НКВД. Аушвиц или ГУЛаг. Сталин или Гитлер. Черчилль сказал, что против Гитлера он пошел бы на союз хоть с дьяволом. Гамсун столь же определенно выбрал Третий Рейх.

Он был предельно независим, его нечем было соблазнить. Его позиция, следование тому, что он считал единственно верным, что вынес из опыта длинной цельной жизни, напоминают Толстого. Тот тоже не сообразовывался с мнениями других, ни царя, ни прокурора Священного Синода, ни честнейших радетелей за народ. Тоже нажил себе множество врагов, тоже подвергся гонениям. Только время тогда было другое. Оттого, что объективно он оказывался в одном лагере с противниками церкви, режима и большинства его институций, не погибали конкретные люди, не наносился ущерб стране, не предавались высокие принципы. Он мог писать прокламации против русско-японской войны, но, услышав, что сдан Порт-Артур, ударить кулаком по столу и крикнуть: «Труссы! Свины!»

Гамсун в первые дни немецкой оккупации обращался к нации: «Норвежцы! Бросайте оружие и расходитесь по домам, Германия сражается и за наши интересы». Его жена ездила по Германии с лекциями в поддержку нацистского режима. Сын Арилд записался добровольцем

в СС и отправился на Восточный фронт. А Туре оккупационные власти назначили руководить самым крупным издательством взамен прежнего директора, отправленного ими в концлагерь.

Студентом он вступил в НС, норвежскую фашистскую партию. Не моя очередь порицать его, я не знаю тамошней тогдашней обстановки и вообще не вижу, по какому праву могу быть ему судьей. Учась в Мюнхене, он стал членом СС-Штурм – похоже, из вполне невинного, собственного юности интереса. Ни в каких репрессивных акциях отряд, в котором он пробыл год, участия не принимал. Я его тяготения в эту сторону, в сторону силы, не понимаю, но чужая душа потемки. Я не понимаю много чего. Например, стрельбы из ружья в беззащитную глухарку. В первый раз промахнулся, она не пошевелилась. Со второго уложил. В 13 лет. В 70 вспоминает, как о славном деле. Или: «В Париже мы [с учителем] ходили по художественным выставкам и по борделям. Когда-то же это нужно было начать, а мне уже стукнуло 19». Никто не возражает, но я встречал людей, вполне чуждых такой животной рациональности. Так или иначе, вырисовывается натура.

Опять-таки: не мое дело навешивать на него нацистские преступления. Но когда идет стенка на стенку, нюансов нет: одни льют чужую кровь, у других она льется. Его привлекало это направление. Оно могло победить. Оно проиграло. Думаю – на его счастье. Потому что, выиграл Гитлер, дело не обошлось бы только сотрудничеством. Пролил бы художник и писатель чью-то кровь, кроме глухаркиной, пролил бы.

Человек, повторю, скорее приятный. Одаренный. Нацеленный на справедливость. С крепким внутренним стержнем. Помогавший, насколько возможно, попавшим в беду. Возможностей, считай, не было. Подробно описывается, как удалось добиться визы для друга-еврея.

Чего-то главного, однако, Туре Гамсун никогда не понял. Пишет – уже в конце жизни: «Раскаяние?... Можно ли раскаиваться в том, что ты таков, каков есть и каким был?» Что на это скажешь? Конечно, можно! Но думаю, добрых девять десятых живущих на земле считает так, как он. По крайней мере, в нашей стране – где светлые личности без тени раскаяния перетирают по ТВ, почему шли в партию, в органы, в доносчики: почему губили людей.

В целом дрянной остается во рту после чтения вкус. Именно потому, что прямой вины на человеке вроде бы нет. Не убил, не украл, краденым не пользовался. Таким не объяснишь, что такое раскаяние, ничем ни в чем их не разубедишь.

15–21 августа

Ты юн, перед тобой лежит беспредельный мир, ожидая, когда ты им завладеешь. Любой его частицей, любой областью и всем целиком. Последний срок, когда тебе кажется это возможным – 25 лет, годом больше, годом меньше. Незадолго до этого мы с Аксеновым познакомились. Я принадлежал к кругу молодых людей, который охотно пользовался словом «чувак». Аксенов его употреблял, но уже переходил к следующему – «старик». Старики настоящие в поле нашего зрения не попадали, 50-летние воспринимались стариками глубокими, прожившими отпущенную им жизнь и тем самым интереса уже не вызывающими. Люди 70-ти и старше были «вообще»: их замечали только из-за того, что они что-то немислимое помнили: царя, нашествие татар, утопию Атлантиду. Аксену сейчас 75. Привет, старик. Я имею в виду – чувак.

Полстолетия назад, годом больше, годом меньше, он учился в Ленинградском Медицинском. К тому времени он уже писал, но сейчас у меня впечатление, что тогда все писали. Например, куда известнее его был другой студент его института, сочинивший леденящую душу историю про неразделенную любовь к болонке сенбернара – которого на протяжении всего рассказа он именовал «сербернар». Одно из открытий, сделанных мной в жизни, это что людям вообще и писателям в особенности всё может пойти в убыток – даже то, что выглядит очевидной потерей. Аксенов так себе доктор, я к нему лечиться не пойду. Казалось бы, потраченные впустую шесть лет. Но медицинское образование заложило в нем основу, вокруг которой любые гуманитарные только ходили бы вокруг да около. Он разбирается в анатомии человека, в его физиологии, в организме. В том, с чего ведет отсчет человеческая жизнь.

Не говоря о том, что студенческий этап жизни и есть тот самый, когда все на свете кажется достижимым. Мы с ним не очень отчетливо помним друг друга по тогдашним лито, но захаживали в одни и те же. Лито – это литературное объединение. В советское время ими руководили старики именно биологические, так или иначе искушенные в жизни и литературе, чтобы не сказать изрядно потертые ими. Иногда талантливые, иногда нет. Надзираемые из КГБ, если не оттуда прямо назначенные. Но не в них заключалось дело. Главное была среда. То, что читалось, усваивалось, продумывалось, говорилось одним, становилось общим. Время от времени мы с ним вспоминаем этих «одних», то влияние, которое от них распространялось, авторитетность их мнений, проницательность оценок, благородство позиций.

Писательская судьба Аксенова была не то чтобы легкая – в то время не было легких судеб, даже у негоже, – а счастливая. Возможно, потому, что и талант у него счастливый: опережать время на день, на месяц, на год. Угадать ближайшее будущее ему интереснее, нежели оценить прошлое. Первая его вещь получилась достаточно живой, чтобы понравиться читателям, и достаточно правильной, чтобы преодолеть цензуру. Следующая – «Звездный билет» – прошла у нее в кильватере, втянутая ее успехом. «Билет» – шикарная повесть, это уже Аксенов: острый, веселый, с безошибочным ухом, с гурманским вкусом к языку. Рассказы тех лет, собранные в книге «На полпути к Луне», – из лучших в русской беллетристике второй половины века, некоторые хороши для любой антологии русского рассказа. «Затоваренная бочкотара» – изящная и изысканная проза, при том что эффект от нее чуть ли не публицистический. Со всем этим он сделался знаменит, ценен и материально обеспечен. С удовольствием повторял: «Я Чарли-миллионщик», – расплачиваясь за приятелей в ресторане. Стал выезжать за границу. Тогда это была прежде всего награда: запах свободы, виды Европы, шмотки. Но он впитывал культуру, подправлял фокус зрения.

Как знаменитости ему полагалось дружить со знаменитостями. Среди них я однажды сидел у него на дне рождения, лет 40 назад, было не интересно и не легко. Мне казалось, что ему в первую очередь. Когда страна – Советский Союз, слава в ней много хуже бесславия.

Недавно я прочел мемуары одного из них, как раз о том, что это тогда значило. Он утверждает, что пробиваться и занимать место. Тот Аксенов, которого я знал, никак этому не соответствовал. Когда мы жили на хуторе Кальда, то завтракали копчеными угрями, он уходил в свою комнату, до обеда жадно писал, потом мы копчеными угрями обедали, шли купаться и, разговаривая, болтая, прикалываясь, как сейчас бы сказали, друг к другу, проводили время до автобуса, который вез до электрички, а она до Таллина, и там, пошатавшись без цели по городу, скрывались в каком-нибудь пункте питания. Лампы в нем были похожи на парижские, джаз на американский, кухня на досоветскую, а мы на прожигателей жизни и губителей здоровья без родины и морали.

Манерой держаться он был похож скорее на нашу, ленинградскую, компанию, в самом начале сочинительства переставшую думать о публикации. Разделяло нас то, что он тем не менее был тогда признаваемый властью писатель. Он эту власть ненавидел. Может быть, даже сильнее, чем мы. Но из-за его статуса – печатающегося писателя – тут проходила граница, и это спор неразрешимый. Допускаю, что именно это могло быть глубинной причиной их с Бродским разрыва в эмиграции. Но любить такая вещь не мешает, а я его – и у меня есть основания сказать: он меня – любили. В те дни, когда он стал ухаживать за своей будущей второй женой, мы шли пешком от Пушкинской площади до Аэропорта. Разговор постоянно съезжал на затруднительность возникшей ситуации, и у дома он подошел к своей машине, тогда «запорожцу», чтобы проверить, в порядке ли в банке с водой на полу тюльпаны, ждавшие под газетой их вечерней встречи. Я испытал острую нежность к покорным цветам, к нелепой колымажке – к трогательному их обладателю. Через два-три года они оказались в соседней с нами рыбацкой деревне на Рижском заливе и вдруг приехали. На изумрудной, роскошно выглядевшей «волге». Он привез в двух холщовых сумках две тяжелые папки с романом «Ожог». Я стал читать – на крыльце, на пляже, в постели, – по временам отвлекаясь на воспоминания о красоте, свежести, яркости его жены. Думал: всё у нас – и такая книга, и такая женщина, и такая на ней льняная блузка с крошечными зеркальцами в яркой вышивке. Неважно, что конкретно у него, мы с ним не чужие.

5–11 сентября

В целом, евреи провели это лето тихо. Никаких ливанских кампаний, никто в президентском офисе в Иерусалиме секретарш по углам не тискал. Даже премьер-министр лицо больше не подтягивал. И в наших широтах тоже вели себя смирно. В отсутствие Френкеля, находящегося под стражей, банкиры могли ездить домой и на работу, не боясь быть убитыми. Единственно кто кое-как будоражил эту сонную умиротворенность и бездействие, был Березовский, отдувался за всех, бедняга.

Как человек, написавший полдюжины романов, я имею некоторые основания поговорить о правдоподобию в изображении человеческих характеров. В частности, злодеев. Время соцреализма, когда отрицательный герой был отрицателен беспросветно (так же как беспросветно положителен был положительный), судя по ряду признаков, прошло, и следа от него не осталось. Я имею в виду, в литературе. Не то в прокуратуре. Тем более что нам недавно объяснили, что прошлого мы стесняться не должны. Будущим должны, само собой, гордиться, но и прошлого с разнообразными экспроприациями, коллективизациями, ГУЛАгами и прагами не стыдиться. Как неизменно и во веки славного. На этом фоне охаивать ли нам огульно такую мелочь, как соцреализм?

Так что генеральный прокурор веско рапортует президенту, что убийцы Анны Политковской, общим счетом 10, пойманы. Все, кроме заказчика. Который находится за границей. Имя его пока не произносится, в неких высших интересах. Это подбивает нас на догадки. В голову настырно лезет один и тот же человек. Вернее, не выходит из головы. Не Абрамович. Но Абрамович, похоже, будет в самую точку. Официальные намеки на эту версию делались до всякого следствия, сразу после убийства. Как же им не подтвердиться?

И все выходит складно, хотя наблюдается, с моей частной точки зрения, небольшой прокол. Если это Абрамыч, то за прошедшее время он был избобличаем в различных преступлениях в среднем раз в неделю. Серийный маньяк политического бомонда. Сперва на него открывали дела наши местные суды. Запевалой был, понятно, Басманный, но вдруг прозвучал, например, и не светившийся прежде Савеловский. Собственно говоря, открытие дел и служило доказательством. Предполагалось, что вот англичане, у которых он получил убежище, услышали такое сочетание звуков – *basmannyj, saviolovskij*, задрожали и в обморок упали. И прислали его в Москву на жарку и топку жира.

Возможно, однако, что-то им, англичанам, это напоминало, почему ни дрожать, ни присылать они не торопились. То же, что и мне. Скажем, 1920-е, 30-е и прочие годы в СССР и их судебные баснословные процессы. На которых в чем людей обвиняли, ровно то и оказывалось. Ни разу прокурор не проиграл. Ни разу адвокату не удалось никого вытянуть. Но главное, что ни разу следствие не ошиблось, ни на ноготок. Забирали по той причине, что английский шпион, – и точно, английский. Забирали, потому что французский, – опять. Самое интересное, что тоже распоряжались обвинениями широко, щедро, доведывая не стеснялись. Английский, а заодно и японский. Французский – и на средства Джойнта. Так и здесь: Басманный недоволен – и Бразилия, Савеловский – и Швейцария. У всех к Абрамычу претензии.

Я его не поклонник. Но хорошо бы соблюдать меру. В интересах, прежде всего, убедительности. Вы хотите, чтобы он у вас Политковскую заказал, – пожалуйста. Но тогда тех, которых на него навесили до нее, не надо бы. И мошенничество в особо крупных размерах, и свержение государственного строя ему не, как выражаются прокуроры, инкриминировать. А если уже инкриминировали и тех уже навесили, то отменить Политковскую. А то перебор, чисто композиционный. Как у Ноздрева: не делатель ли Чичиков фальшивых ассигнаций? – делатель! на два миллиона!

Жертва, с выражением лица сказал генеральный, лично знала заказчика. Это, осмелюсь заметить, лишнюю он доложил гирьку. Знала – и что? Увидела в подъезде киллера и решила: *от него*, все в порядке – и тем вынудила себя застрелить, так, что ли? Мы понимаем: БэАБэ – плохой, а эФэСБэ – хорошая. Но ведь не снимает это с хороших труда представлять публике доброкачественный сценарий. Все-таки не телевизионный сериал, в котором, как вышло, так и сойдет. С четверть века назад проводил со мной угрожающую беседу некий чин из КГБ: позднее, после перестройки, оказалось, писатель. Если сценарист такой, как он, ждать иной продукции не приходится. С другой стороны, его можно и понять. Исходные условия задачи были заданы жесткие: убитая мало что значит политически; у нее темноватые, не одобряемые властью связи; ее направляет не одобряемая властью рука. На таком материале «Восточного экспресса» не напишешь.

Злодей должен быть злодейский, это так. Но при том что-нибудь должно в нем быть не злодейское. Чтобы мы поверили, что он живой, а не соцреалистический. Например, он может оплатить солидный счет какой-нибудь клиники, лечившей тяжело заболевшего поэта. Или отвалить сколько-то миллионов нефальшивых ассигнаций на премию выдающимся нашим талантам. Добавим – ничего с этого не имея, даже упоминания имени. Что он олигарх, это наши мозги в нужную сторону поворачивает, тут никто не спорит. Но к окончательному выводу – что, ясное дело, гад, – не приводит. Вот Абрамович: олигарх, а хороший.

Нет, не стал я эту баланду *исть*. Даже еще до того, как из 10 четверо оказались ни при чем. И, боюсь, в Англии тоже не станут. Тут еще и сам начальник ФСБ вступил в разговор, насчет «Невского экспресса». Доложил, что, кого надо, уже арестовали, остальных сейчас доберем. Я ждал про заказчика: ведь вот, рядом он был, руку протяни. К тому же обвинял в свое время, негодяй, что взрывы жилых домов сама ФСБ устроила. Сейчас бы ему обратно: а ты экспресса! Однако начальник удержался. Так сказать, работаем быстро, оперативно, но немного времени все же еще должно пройти.

Я когда был молодой, в Москве орудовал убийца. Звонил в дверь, говорил «Мосгаз», топориком тюк, телевизор черно-белый заберет, и нет его. Хрущев приехал к генеральному прокурору, другому, тогдашнему, сказал: даю три дня. Назавтра поймали – того ли, не того, никто не спрашивал. Тут же судили, приговорили к расстрелу. Тут же приговор привели в исполнение. Это у нас. В Англии как-то по-другому.

19–25 сентября

Как в прежние времена люди подходили к теме разговора? Делали вступление: «Мой отец, царство ему небесное, любил озадачивать (соглашаться, противоречить)...» Дальше – как иллюстрация того, о чем пойдет разговор, – описание какого-нибудь связанного с отцом эпизода, который и выводит непосредственно на тему... Так вот, мой отец, царство ему небесное, человек уравновешенный, доброжелательный, философского склада, не допускал мысли, что в какой-то, какой угодно, группе людей все могут думать о чем-то одинаково. Я был свидетелем, когда гости на дне его рождения принимались хвалить погоду, дескать, как приятно было сегодня по солнышку пройтись, или, наоборот, ругать, что дождю конца нет, и он в первом случае говорил, что как это солнышко, когда холод и мокрядь, а во втором – что какой дождь при таком ясном небе. Мама возмущалась, гости жарко опровергали, а он, приветливо улыбаясь, выслушивал и невозмутимо повторял: да, да, холод, мокрядь – или: да-да, ни облачка на небе.

Конечно, немножко чересчур. Но как я его понимал! Твердить то же, что все, – затем ли родился конкретно ты? Затем ли человеческий род произведен в миллиардах особей, чтобы каждая была, как другая, и ничего *особого* в ней не обнаруживалось? Солнце всходит, солнце заходит, огибает землю, все это видят, никто не спорит. Кроме провинциального поляка, который всем поперек заявляет, что, пожалуй, это Земля огибает солнце. Инакомыслящий. Не с целью во что бы то ни стало отличиться от всех, а испытывая нормальное подозрение к тому, что выдается за истину лишь по той причине, что так считают все. Точнее, *именно* по этой причине.

Все это пробежало в мозгу, когда я шел к Сахаровскому Центру на выставку, посвященную Раулю Валленбергу. И не оставляло меня, пока я ее осматривал. И утвердилось, когда после этого ждал на остановке троллейбуса. Андрей Сахаров был образцом инакомыслящего. Он думал не так, как все, и потому сперва изобрел невероятную бомбу, а потом объявил, что советская власть тоталитарна, тоталитарная власть репрессивна, репрессивная власть противозаконна... Мы, остальные, не такие, мы – *все*. Все мы помним, как он что-то говорил, совершенно один, а лучший из президентов Советского Союза ему запрещал и отключал микрофон, а лучший Верховный Совет СССР завывал «бууу» и «захлопывал» его. И, разумеется, в куда меньшей степени, чем Сахаров, скорее как тень его, но в той же традиции, ведет себя Центр его имени. В те дни, когда «все» захвачены тем, сменит ли Пупков Зубкова с тем же великолепием, как Зубков Фрадкова, или картину испортит Лобков, он устраивает выставку памяти еще одного инакомыслящего.

Потому что Рауль Валленберг, отпрыск богатой аристократической шведской семьи, преданный сын, нежный брат, послушный и благодарный внук, предпочитает заниматься архитектурой, а не банкирским домом, который должен наследовать. Ехать в раздираемый войной и насилием Будапешт из спокойного, гарантирующего не только безопасность, но и беззаботную жизнь, «заваленного апельсинами» (из письма сестре) Стокгольма. Оставаться под ежеминутной угрозой реальной смерти вместо того, чтобы принять рекомендацию шведского МИДа вернуться на родину. Погибнуть, но пытаться спасти еще и еще одну жертву.

Горькая история. Темная. Как у каждого из тех, кто отдает душу за своего ближнего. А ближним считает – любого. МИД предлагает ему миссию спасения венгерских евреев. Германия была в ярости, что их депортация столь медлительна, проводится без желания, иногда саботируется. Когда Хорти выступил по радио с тем, что выводит страну из войны и сдается союзникам, его немедленно арестовали, власть перешла к фашистской партии «скрещенных стрел» во главе с Салаши. Этот готов был уничтожить евреев, даже если бы его не просили. Начался террор, поголовное истребление. Валленберг занимался тем, что вырывал – иногда физически – захваченных, согнанных на резню, несчастных горемык из рук немцев, нилаши-

стов и просто охотников до крови, особенно *этой*. Выкликая людей поименно, тыкая пальцем в того, другого, третьего – всякого, кого хватало времени и сил заметить, – он объявлял их шведскими подданными и выписывал «охранительные паспорта». Называют цифру 100000 – спасенных им с июля 1944 по январь 1945. Это преувеличение, но тут главное – с чьим именем оно связано. Кого хотят видеть спасителем.

Потом в Будапешт вошла Красная Армия. Его взяли – он сам не мог понять – не то под охрану, не то под стражу. С ним постоянно ходили два советских офицера. Потом он исчез. В эти дни интернировали всех шведских дипломатов, но через три месяца они вернулись в Стокгольм. Без него.

На выставке представлено факсимиле письма начальника тюремной санчасти министру госбезопасности Абакумову. Госбезопасность тогда не была еще «приятной во всех отношениях», как сейчас. Само собой, «совершенно секретно». «Докладываю, что известный Вам заключенный Валленберг сегодня ночью в камере внезапно скончался, предположительно вследствие наступившего инфаркта миокарда. В связи с имеющимся от Вас распоряжением о личном наблюдении за Валленбергом прошу дать указания, кому поручить вскрытие трупа. 17 июля 1947 г.» И внизу наискосок тот же полковник медицинской службы: «Доложил лично министру. Приказано труп кремировать без вскрытия».

17 июля 1947 года. Где я в этот день был, что делал? Наверно в пионерлагере, в лапту небось играл.

В Будапеште Валленберг встречал Эйхмана, обоих приглашали на официальные обеды. Хотя цели они преследовали прямо противоположные: Эйхману надо было в очень короткие сроки убить 300000 евреев. Валленберг говорил ему: война кончается, вы проиграли, прекратите истребление и я защищу вас. Тот отвечал: ничего вы не защитите, лучше позаботьтесь о себе. Я-то выскочу, а вы наивный человек, занимаетесь заведомо проигранным делом... С точки зрения всеобщей, он оказался прав: Валленберг проиграл по всем статьям.

Но почему я о нем сейчас вспоминаю? Почему я о нем вспоминаю много лет и довольно часто? И не я один. Вспоминаем о нем поодиночке.

26 сентября – 16 октября

Принцесса Стефани Гогенлоэ в девичестве носила фамилию Рихтер. Родилась в 1891 году. В Вене. Отец – адвокат, католик, из крестьян. Мать приняла католичество перед самой свадьбой, она была еврейка. И в аккурат в то время, когда ее муж находился в заключении за растрату, забеременела. От финансиста по фамилии Винер, по совпадению также еврея. Рихтер, выйдя на свободу, благородно признал ребенка.

На могильном камне год ее рождения – 1905. Некролог сообщает, что она родилась в Венгрии и что девичья фамилия у нее была Фишер. Вереница ошибок. С другой стороны, а почему бы нет? Лет в 50 принцесса небрежно обронила: «Сколько же мне, собственно, годков? Не промахнуться бы. Я родилась в 1899-м. Но меня считают, очевидно, старше». Если $91 = 99$ и Вена = Венгрия, то лично я легко принимаю, что Рихтер + Винер = Фишер.

Девочку посылают учиться на полгода в Англию. Девочку определяют в Венскую консерваторию по классу фортепьяно. Теннис, плавание, гребля, парусный спорт. Охота, верхом, с собаками. Фигурное катание, особенно вальс на льду. Свободное владение иностранными языками. В 14 лет – первый приз на конкурсе красоты, девушки начинают носить платья и прически под «Штеффи из Вены». Шарм, улыбка, верховая езда. Польский граф делает предложение. Отвергнуто: графу не то немного больше, не то немного меньше 70. В 15 – предложение от графа Коллоредо-Мансфельда. Отвергнуто: жаден.

В 17 – венчание с принцем Фридрихом фон Гогенлоэ. Брал на лошади препятствие, свалилось пенсне, она подняла, он влюбился. (Вообще-то предложение уже сделал другой Гогенлоэ, Николаус; отвергнут: высокомерен). Свадьба по несколько ускоренному сценарию: невеста в интересном положении. От третьего: эрцгерцога Австрийского. До него была интрижка с другим эрцгерцогом, мимолетная, не в счет. Все кавалеры не мальчишки, главному оплодотворителю и вовсе под 50. Правда, и невеста не такая уж девочка: это она говорит, что 17, а по метрике было ей под венцом все 25. Кто считает? «Половина королевских домов Европы называла меня теперь кузина». Новорожденный проводит время в имениях то польского графа (жив, жив!), то – своего реального отца, где мама охотится на оленей.

Первая Мировая война, Стефани – сестра милосердия. Со слугой и горничной. Развод: «мой муж был отлично сложен, но небольшого роста – а я люблю крупных мужчин». Послевоенная Европа: «Что же можем мы и, в частности, я, как женщина, сделать? Ничего, кроме как ободрить утомленных дипломатов и министров, на чьих плечах лежит такая ответственность». Ницца, желтый автомобиль с серебряным капотом. Покровители, не успевающие сменить один другого, поэтому часто действующие одновременно. «Прозрачное муслиновое платье и никакого лифчика». Наконец встреча с английским газетным магнатом лордом Ротермиром.

В то время – вокруг 1930 года – он одержим восстановлением королевской власти в Венгрии. Ход вещей приводит его к соседней идее-фикс: необходимости нового кайзера для Германии. Челночная дипломатия и организация встреч всех вовлеченных в дело лиц возложена на принцессу Гогенлоэ. Но Ротермир, будучи реалистом, теряет интерес к монархической затее и сосредотачивает все внимание на фигуре, пользующейся поддержкой и любовью подавляющего большинства немцев. Это рейхканцлер, его имя – Адольф Гитлер. С письмом от лорда к нему отправляется кто? – Стефани. Не припомню, вступали ли когда-нибудь в непосредственное соприкосновение германский дух и еврейский дух с подобным подъемом и расположением.

И ведь клюнул! Адольф – клюнул! Сколько ему ни доказывали, что она чистокровная юден, сколько ни предупреждали, что профессиональная шантажистка, что окрутит, что разрушит карьеру, фюрер ее с помпой принимал, называл «любимая принцесса», расточал комплименты. Руки не распускал, но по волосам поглаживал и за щечку щипал. Ева Браун воз-

любленная оставалась дома, а наша красотуля садилась за стол в окружении первых лиц партии и государства. Видать, был в ней, как говаривал старик Карамазов, «изгибчик».

Струйка песочных часов сыплется безостановочно, события ужимаются, от происходившего днями и неделями остается схема в несколько секунд. Нацизм – милитаризм – агрессия – Аушвиц. Между тем начало 1930-х сопровождалось надеждами, что Гитлер, подняв Германию, поднимет вместе с ней и всю Европу, ее экономику, государственность, дух. Это, а отнюдь не фашистские идеи, равно как и не «политика умиротворения», влекли к нему людей вроде Ротермира. Или министра иностранных дел Великобритании Галифакса. Или довольно обширного и исключительно влиятельного «Кливденского кружка» «английских друзей Германии». Или короля Эдуарда VIII, в конце концов. Однако мировая история необратимо развивалась так, как она развивалась, и поглощала множество более мелких историй. В частности, и принцессы. Знакомство с Ротермиром, приведшее к знакомству с фюрером, было началом ее конца. Из рук вождя она получила золотой номерной значок национал-социалистической партии и сделалась «почетной арийкой».

Во времени обозримом – триумф, в долгосрочном – крах. После первой встречи с Гитлером она прожила еще 40 лет, стала любовницей и агентом его адъютанта Фрица Видемана, хозяйкой замка, отнятого у великого театрального режиссера еврея Макса Рейнхардта. Переспала с бесчисленными знаменитостями и богачами. Сопrotивляясь высылке из Америки, сошлась с главой Иммиграционной службы США, бросившим ради нее семью. И так далее, и так далее. Но это уже была игра на выживание. В 1969 году медиа-магнат Аксель Шпрингер приехал в Иерусалим на открытие основанной им библиотеки Музея Израиля. Своей подруге Стефани он дал телеграмму: «Как жаль, что вы не можете присутствовать вместе со мной на этой торжественной церемонии». Да, да, она не могла. Нетрудно представить себе, как бы ее там встретили.

Полгода назад у нас вышла о ней книга Марты Шад «Шпионка Гитлера» (Москва, АСТ-Астрель, 2006). Кошмарная, кошмарный перевод, о содержании каждой – буквально каждой – фразы приходится догадываться. Имени переводчика нет. Читать не надо, достаточно этого краткого изложения.

7–13 ноября

Первая круглая годовщина Октябрьской революции в моей жизни была 20-ая. Как оно тогда происходило, не помню, ибо в возрасте находился младенческом, несознательном. Но что такое этот 1937 год собой представлял, знаю не слабей, чем устройство мясных боен, – хотя ни на одной ни разу не был.

30-я пришлась на второй послевоенный год. Разрушенный Ленинград, школа в три смены, десять четвертых классов. Со мной, 11-летним, за партией сидит Андреев, которому двадцать лет и у него двое детей. Пятилетка восстановления и развития народного хозяйства. Продукты питания в народное хозяйство не входят, обувь не входит. Помню пальто на ватине, из которого торчат руки. По радио изо дня в день передают «Овод» в исполнении народного артиста Симонова. Мать и отец на работе, брат в группе продленного дня, на улице темно, от слов «синьор Риварес» меня пронизывает ужас. Беспощадная «Черная кошка» терроризирует город, противостоит ей один товарищ Сталин, чьи портреты, тоже с усами, к счастью, висят на стенах Дворца пионеров, Зимнего и многих других дворцов. Прохожу мимо них в колонне завода, на котором работает отец.

40-я получилась чуть-чуть напряженной. Предыдущая – некруглая – совпала с венгерской революцией. Нам, студентам, было объявлено, что во время праздничной демонстрации каждый должен знать лично двух соседей справа и слева по шеренге и, как минимум, по одному впереди и сзади. Но летом прошел Всемирный фестиваль молодежи, помягчело. Юра Мартынов нес диаграмму роста успеваемости на нашем факультете, сказал мне: «Подержи, я щас». В следующий раз я увидел его уже у Зимней канавки выпивающим водку с Мишей Эфросом и Лизой Лебедевой, комсомольским секретарем курса. Я был в венгерском плаще цвета беж, на шее черный шарф с лейблом «Фабрика Трико Кишинева», латинскими буквами. Лебедева сказала: «Бросаешь вызов режиму?» Я не стал отвечать, потому что замерз. Только подумал: «Ну Ленин, ну тип, устроить революцию в такой холод!»

50-ю справлял в Коктебеле. Принес на пляж, абсолютно пустой, скляночку виноградного спирта с продетой сквозь притертую пробку резиновой трубкой. Для понта: вода была не ледяная, я и накануне купался, и на завтра, но хотелось *изобразить*. Короче, нырнул и возле дна, сколько мог, затянулся. По случаю полувекового юбилея гром по стране катился оглушительный. А тут ровно шумел прибой и, когда темнело, вдалеке на фоне крупных южных звезд загорался хлипкий красный огонек: это на здании поселкового совета включали несколько лампочек позади кумачового транспаранта «Коммунизм победит потому что он вечен». В тот год я оказался в Коктебеле сперва в июне, в разгар Шестидневной войны. Тогда на склоне ближнего холма пасся новорожденный теленок. К ноябрю он дошел до кондиций молодого бычка, из чего я пытался высосать символ все возрастающего значения июньской победы. Я рассказал, как он вырос, своей соседке по дому, и она, профессиональная циркачка, моментально отозвалась: «Номер надо делать».

60-летие праздновалось довольно угрюмо. Во-первых, еще не кончились пятидесятилетия: союзных республик, плана ГОЭЛРО, комсомола, организации РАПП, беседы Ленина с Гербертом Уэллсом. Жизнь превратилась в нон-стоп годовщины. Во-вторых, объявленная «эпоха развитого социализма» веселья не прибавляла. Главная шутка была: «Шестьдесят – пора на пенсию». Я уже жил в Москве, жену вызывали в школу выяснять, почему дочка не вступает в пионеры, угрожали. Я переводил калмыцких поэтов по подстрочникам, рубль-десять за строчку. Революцией, той, 60-летней давности, не пахло. У раннего Пастернака есть такие строчки про засуху: «Она, туманная, взвилась / Революционной копной». Пахло копной.

Совсем другое дело – 70-я. Генсеком Компартии был уже Горбачев. Сперва думали, что, молодой да ранний, вот он-то и возьмет всех под ноготь. Шли месяцы – проносило. Ладно,

пусть уйдет из Афгана, вернет Сахарова из ссылки, вообще всех, кто по политике сел, выпустит, тогда, может, поверим. Ушел, вернул, выпустил. Стали приезжать на побывку те, кто эмигрировал, уехал «навсегда», с кем простились «навсегда». Маша Слоним – ёлы-палы: Машуля, Бибиси, программа «Аргумент»! Впервые зазвучала привезенная ими оттуда поговорка «нэвер сэй нэвер», «никогда не говори никогда». Тут Бродский получает Нобеля, это производит определенное впечатление – на страну и на меня, поскольку, можно сказать, кореш. Дальше больше – я имею в виду свою частную жизнь: меня начинают оформлять на поездку в Америку! Тридцать лет в Польшу запрещали, и на тебе. То есть что значит «оформлять»: посылать в следующую инстанцию, а не, как раньше, в задницу. Всего я прошел 13 инстанций, что заняло 8 месяцев. За хлопотами, захватывающими неведомой до того интригой, сам красный день календаря промелькнул незаметно. Надо полагать, традиционно шел мокрый снег, плыли бумажные цветы и ехали ракеты.

80-ю чуть не пропустил вообще. Был в Нью-Йорке: какие-то лекции, какие-то чтения стихов и проз. Утром еду через Таймс Сквер, на стене в бегущей строке ухватываю глазом – «Ноябрь 7». Батюшки! где тут формируются колонны праздничной демонстрации трудящихся Манхэттена? Не с кем поделиться волнением – во-первых, тем, что с рождения присуще дню, во-вторых, тем, что вызвано его отменой. Вечером – естественным ходом в ресторан «Русский Самовар». Там Роман Каплан, хозяин: «Эй, – говорит, – ты не забыл, какое сегодня число?» Я-то как раз не забыл, но в контекст какого настроения и каких телодвижений его поместить? «А вот подожди, за роялем уже настроились петь – сейчас обязательно грянет «поручик Шапиро, корнет Рабинович». И еще десять раз из зала будут просить на бис». Так, по слову его, мы этот вечер и провели.

А сейчас 90-я. Это уже почти столько прошло, сколько после революции Великой Французской. 90, 190, да хоть 290 – невелика разница. Кстати, девяностолетие Французской пришлось на 1879 год. Что там тогда было? Новый президент – Жюль Гриви, 78 процентов голосов на выборах, вот это рейтинг! Через 6 лет – опять 78! Потом зять его попался: отдавал кому надо госзаказы, получал откаты, чинами торговал, орденами. Пришлось Жюлю подать в отставку. У них, французов, с этим было строго.

14–20 ноября

Издательство «Фантом-пресс» выпустило книгу Стивена Фрая «Моав, умывальная чаша моя». Фрая мы знаем как актера: это он играл Дживса в телевизионном сериале «Дживс и Вустер». Между тем он написал полдюжины книг, снискавших признание в Англии и за рубежом, переведенных на разные языки, в частности, и на русский. «Моав» – автобиография, от младенчества до 20 лет. Название – стих из 59 Псалма: означает, что среди покоренных царем Давидом земель Моавитянская будет служить ему не более чем умывальником. В одной из последних фраз автобиографии выбор названия объясняется: «Вы увидели меня у моей купальной чаши соскребающим грязь годов».

Есть неотразимая притягательность в описании детских лет английского мальчика: Диккенс здесь чемпион. Именно английского – который ребенком отчуждается от родительской ласки, домашнего тепла, семейного покровительства. Сиротством ли и бедностью (которая есть двойник сиротства), как у Диккенса, – или обыкновенным определением в школу, особенно если это boarding-school, школа-интернат, как у Фрая. Ни дать ни взять, Спарта, где государство отнимало у родителей детей в возрасте 7 лет, отправляло в лагеря и воспитывало под руководством знающих свое дело педагогов. Только там целью была воинская доблесть, а в Англии – образованность и самостоятельность. Можно сказать, что спорт, закалка тела у англичан спартанские. Но какому излому подвергается мягкая беззащитная душа ребенка, сталкиваясь с играми, похожими на истязание, дисциплиной, похожей на насилие, подчиненностью старшим, одиночеством, не находящая, кому она может по-детски пожаловаться!

Стивен – в его собственном описании – тот еще фрукт. Рассказывая о своих поступках, побуждениях, мыслях, он не щадит себя – и тем добивается права быть беспощадным к другим. Из множества персонажей, которых он представляет читателям, его безусловной любовью пользуется мать, младшая сестра, мальчик из младшего класса, с оговорками брат, и учитель, обладающий бесконечным смирением и расположением к шкодящим ученикам. Вот и всё. Если учесть, что он, Фрай, гомосексуалист, и упомянутый мальчик – предмет его домогательств, трудно представить себе, чтобы такой тип мог очень уж понравиться. Если прибавить к этому, что этот тип к тому же вор, обыкновенный карманник, промышляющий по раздевалкам и чужим спальням, – тем более. И, однако, нравится.

Привлекательность того или другого человека заключается не обязательно в честности, благородстве, справедливости, словом, не в его положительности, а в цене, которую он платит за свою отрицательность: свое вранье, презрение к другим, двуличие, неверность. И еще тем, что сохраняет присутствие духа в крайних ситуациях. Как герой известного стихотворения – «так весело, отчаянно шел к виселице он». Герой книги «Моав» – не говорю Стивен Фрай, потому что не знаю, насколько он себя изобличает, насколько на себя наговаривает, – расплачивается полным крахом своей юности, надежд, талантов, мечтаний, дружб. Накануне 18-летия, после месяцев, проведенных в бегах, под чужим именем, по украденным кредитным карточкам, его арестовывают и отправляют в тюрьму. «Я был так счастлив, так блаженно, лучезарно, бешено счастлив, что, умей я петь, запел бы... Я был свободен. Наконец-то». И дальше: «Жизнь в тюрьме давалась мне легче легкого, поскольку большую часть прожитых мной лет я провел в закрытых школах. Я не хочу сказать этим, что закрытые школы похожи на тюрьмы, я хочу сказать, что тюрьмы похожи на закрытые школы. Я умел сохранять бодрость духа и выдумывать разного рода забавы, шуточки и мошеннические проделки. Я умел *выживать*».

Фрай – англичанин до мозга костей. Это отнюдь не значит, что он образец англичанина. Напротив, он терпеть не может спорт, холодный душ, командную солидарность, да и о школе в целом, составляющей национальную гордость англичан, отзывается с враждебностью в диапазоне от безразличия до отвращения. Свою аллергию на еще один предмет английского покло-

нения – цветы – он виртуозно использует для увиливания и от регби, и от уроков. «Я начал отчаянно гордиться моей астмой, так же, как впоследствии возгордился моим еврейством и моей сексуальностью».

Как сказала недавно известная певица, вполне русская и вполне гетеросексуальная: «У нас всегда во всем виноваты артисты, евреи и педерасты». Фрай принадлежит к трем этим категориям одновременно. Род Фраев – саксонский, старинный, еще донорманнский. Тут мы касаемся еще одной английской черты – отношения к национальной принадлежности человека. Его мать была чистокровной еврейкой, «однако фамилию я носил решительно английскую, а только она и определяла, целиком и полностью, то, кем я себя считал. Для англичан все это означало, что я англичанин со слегка экзотическими обертонами; для евреев – что я еврей с одним вполне простительным недостатком». (Возможно, чтобы стать такой страной, надо воспринять весь комплекс британского мироустройства, начиная с закрытых школ.) «Впрочем, – продолжает автор, – внутренне я не сомневался в том, что определенного рода антисемитизм в Британии существует. Евреи, подобно гомосексуалистам, считались людьми не вполне *здоровыми*. Они были частью парада бледных умников, которые на рубеже двух веков смутили наш здоровый мир разговорами о релятивизме и неопределенности, туманными идеями насчет исторического предопределения и расщепления личности».

Далее короткий эпизод с прадедом Фрая по фамилии Нейманн, венгерским евреем «из тех, кто готов отдать человеку последнее пальто». Проходят десятилетия, и Фрай читает в одной книге о Гитлере следующее: в 1910-м, в возрасте двадцати одного года, Гитлер ходил в дряхлом старом пальто, которое получил в ночлежке от торговца подержанным платьем, венгерского еврея по фамилии Нейманн, и которое спускалось ниже его колен. «Полагаю, комментирует Фрай, венгерских евреев в Вене 1910 года было очень немало, полагаю также, что многие из них носили фамилию Нейманн, и все же не могу не гадать неужели мой собственный прадед дружил с человеком, заботился о том, чтобы ему было тепло, и этот же человек впоследствии уничтожил большую часть его семьи и около шести миллионов людей, принадлежавших к его народу».

Взгляните на фамилию автора этой колонки, и вы поймете мое смятение тоже.

28 ноября – 4 декабря

70-я годовщина Большого Террора. Собственно говоря, начинать отсчет можно с первого дня Октябрьской революции, но 1937-й большевики сделали рекордным в индустрии истребления граждан, выделили как монумент особо масштабной резни, и таким он запечатлелся в национальной памяти. Даже у той части страны, которая считала, что все правильно – в свете... дальше набор: построения коммунизма, исторической необходимости, международного положения, высшей справедливости. А пожалуй что и у нынешних, которым на все это, в общем, наплевать. Так получилось, что на особом счету этот год.

70 лет тому назад... Да не лезьте вы к нам с вашими семьюдесятью, с вашим тридцать седьмым, не портите настроения. Сколько времени прошло, а вы всё суете нам под нос эти истлевшие портянки. Как в старой пьесе Эдуардо де Филиппо вернувшийся из плена не больно-то сообразительный итальянец обходит собравшихся за праздничным столом гостей и каждому начинает одну и ту же историю: «Лежу я в окопе, по бокам два трупа...». Они веселятся, они достали на черном рынке приличные продукты, они выжили, они нацелились забыть войну – и не хотят ничего больше знать про окопы и трупы.

И мы тоже. Какое-то самозванное общество «Мемориал», какой-то соловецкий камень, какие-то бестактные годовщины. Почему так однобоко? Вон в журнале: один малый вспоминает, как пятилетним ходил с мамашей на Центральный рынок. «Как сейчас помню парную телятину по 5 рублей кило, ломящиеся от великолепных продуктов ряды по чрезвычайно доступным ценам». (*Чрезвычайно* доступные – это какие?) Ума, конечно, не великого и таланта, не сказать, яркого, но тем ценней свидетельство: заурядного человека, заурядный врать не станет.

И видный деятель науки с внушительной телевизионной внешностью тоже не станет: да, были шарашки, стогнали зеков с высшим образованием и повышенной сообразительностью. Ну зеков – и что такое? Жили в тепле, носили доброкачественную одежду, сыты. *Ни в чем не нуждались*. И какими семимильными шагами шла вперед наука! Собрали бомбу, выковали под нее ракету! И было бесплатное образование...

Летом этого года страна – не найду другого слова – *праздновала* 70-летие канала имени Москвы. Канал благодарили за то, что «именно он спас Москву от дефицита воды». Торжественно, с чувством собственного достоинства и, как принято было выражаться в *те годы*, «глубоким удовлетворением», отмечали, что «история канала тесно связана с именами известных ученых, инженеров, зодчих и скульпторов, которые не только построили уникальное сооружение, но и придали ему величественный архитектурный облик». Что он был прорыт «в рекордные сроки», 4 года 8 месяцев. Слегка потупясь, упоминали, что «основной ударной рабочей силой были заключенные». Но (сразу перешибали) «там трудились и вольнонаемные».

Там трудилось 200 000 человек в год. Я имею в виду Дмитровлаг. Средняя годовая смертность по лагерям определена в 15,7 %. Выходит по 30 000 в год – мёрло, замерзло, тонуло, погибало. Стало быть, на круг 150 000. По случаю 70-летия была заложена православная часовня в память жертв строительства. Об этом нас осведомили – и еще о том, что «Канал заступился за владельцев коттеджей на территории парка, прилегающего к руслу». Это похвально: за тех не заступились, так хоть за этих. В «Новостях» показали какого-то нынешнего начальника, немолодого, давно на канале работающего. Он сказал, что на левом берегу стоит стометровая статуя Ленина (под эти слова нам ее показали) и что стояла такая же Сталина на правом. Сталинскую демонтировали... Выдержав паузу, во время которой преданность вождю боролась в нем с лояльностью подлому демократическому режиму, он все-таки прибавил: «К сожалению». Отважился.

Не упрекайте меня в непунктуальном подсчете: 150 000 – дескать, не завысил ли? Тут завышай не завышай, реальный итог никогда не будет меньше. Никогда не станет меньше костей, рвы, в которые их закапывали, не сделаются короче. Земля, на которой расположились коттеджи, не окажется менее жирной, не столь удобренной. (В начале октября наткнулись на груды скелетов в подвале дома на Никольской. В трех, что ли, сотнях метрах от Кремля. Расстрелянных тогда же. Прибавляют: а может, и не тогда, а может, и не расстрелянных. Эдак беспристрастно, объективно: как о костях игральных, о домино.)

Нас натаскивают на то, что это ушло в историю. Нету этого больше. Нет телег, запряженных лошадьми, нет наказания школьников розгами – и этого нет: *история*. А истории стыдиться не надо. Потому и принимает у себя дома Солженицын, который чуть ли не в одиночку сваливал режим, стоявший на фундаменте ГУЛага, радушно Путина, верно служившего заведению, которое это фундамент воздвигло. История и – Seid umschlungen Millionen, обнимитесь миллионы!

Я понимаю, почему Путин *сказал*, что нам не нужно стыдиться своей истории. Я не понимаю, как ее можно *не стыдиться*. Как я могу не стыдиться того, что, будучи шестнадцатилетним мерзавцем, сделал подножку младшекласснику и он унизительно растянулся, рассадив себе до крови коленку? Допускаю, Путин и как президент, и по-человечески не желает сокращения народонаселения. Допускаю, что хотя он принадлежит к племени политиков, для которого, как известно, цель оправдывает средства, он все-таки считает террор, хоть и бывший, аморальным. В том числе и тот, что осуществляла его альма-матер. От которого народонаселение его страны сократилось на процент, сравнимый с его сегодняшним рейтингом.

Уверен, что он проходил в школе стихотворение со строчками «Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный судия: он ждет» – и далее по тексту Лермонтова. И, возможно, не относится к этим словам цинично – даже при том, что сейчас они не в масть времени. Тогда какая же выгода в приглашении гордиться историей, с которой, хочешь не хочешь, каплет кровь? А вот именно чтобы не забывали, что да, да, каплет, что это историческая норма и как норма может проявиться в любое время, завтра, через месяц, и скажите спасибо, что не проявляется. Другого ответа не нахожу.

5–11 декабря

«Бердичев» – многообещающее название книги, для всех: для евреев, для русских, поляков, украинцев, белоруссов. Думаю, что и для израильтян – как олицетворение жизни нации *после* древнего Израиля и *до* Израиля нынешнего. Как говорит один из персонажей книги: «Беркоград проклятый. Бердичев – еврейская столица».

Книга названа по пьесе: «Бердичев» – это пьеса, огромная, некрасивая и тяжелая, как бесконечный советский барак, заменивший собой весь город. Улицы, какая-никакая архитектура, городской сад, река – все поглощено барачным, нищенским, жестоким, темным образом существования. Надрывающимся и покорно брюзжащим. Безвыходным – потому что, куда ни выйдешь, во двор, в магазин, на работу, на танцы, все это части того же барака, его коридоры, сени, лестницы: никому из живущих в нем не покинуть его территории. Пьеса написана (лучше сказать, закончена) в 1975 году, ее автор Фридрих Горенштейн. В книгу (изд-во «Текст», Москва, 2007) добавлены еще две его прозаических вещи. Но пьеса занимает 200 страниц из 300, она определяет идею, самое существо, содержание книги, проза только подыгрывает ей.

Действие предстает перед нами в двух качествах: почти непереносимой скуки – и почти неохватной грандиозности. Оно начинается летом 1945 года и тянется до середины 70-х, три десятилетия. Ничего не происходит. То есть кто-то стареет, кто-то умирает, кто-то рождается. Выходят замуж, женятся. Кого-то сажают в тюрьму. Кто-то переезжает в Москву, кто-то уезжает в Израиль. Ссорятся, завидуют, сводят концы с концами. Отвечают на антисемитские выходки, а по большей части норовят примириться с ними. Противостоят неевреям, таким же озлобленным беспомощным неудачникам и беднякам. Еще напряженной противостоят другу другу, следят, не выбился ли кто в другой разряд, не пробился ли к благополучию: внутри семьи, общего круга. Господствующее состояние – недовольства: любой мелочью, каждым словом и всем на свете. Самые близкие – две родные сестры – на протяжении всей пьесы только цапаются, обижают, обижаются, плачут. Угнетающая атмосфера.

Но постепенно, постепенно начинает проступать то, на чем эта жизнь, мало отличающаяся от прозябания, загадочно держится. Ее нерушимое основание. Энергия, питающая каждый ее день. Эта жизнь не имеет никакой другой цели, кроме как продолжаться. Кто с какого года член партии; кто, скрываясь от фининспектора, портняжничает на дому; кто получает образование, а кто подворовывает в железнодорожном буфете – не означает ни приверженности идеологии, ни сопротивления установленному порядку, ни стремления к знанию, ни аморальности. Сердцевина жизни ничем этим не затронута. Сердцевина жизни выражается одним словом – *выживание*. На вид простейшим, на практике – невероятно трудно исполнимым. Для чего выживать, тянуть унизительную лямку, рваться из последних сил, терпеть оскорбления от дальних и ближних – такого вопроса нет. Мудрецов, которые бы объяснили, что, дескать, это ваша еврейская, ниспосланная самим Богом судьба, ждать, и длить, и мучить себя и других, и рожать на то же самое новых, чтобы было кому в конце концов встретить Машиаха, – нет.

Мудрецов нет, но есть неосознаваемая, бесконтрольная, ставшая привычкой память – что так было и не нам это менять. Две сестры старухами вспоминают то же, что вспоминали в самом начале, когда им было сорок: папу, дедушку, нищету, оскорбления – и как папа и дедушка с этим справлялись, и как нищета и оскорбления их, и семью, и город Бердичев так и не одолели. Идут долгие, повторяющиеся однообразно годы, дети говорят старшим «закрой пасть», потом внуки говорят «закрой пасть», старшие кричат «от так, как я держу руку, я тебе войду в лицо» – детям, внукам. При этом покупают для них на последние деньги курицу, кефир, торт. Всему этому нет конца – и мало-помалу эти слова набирают торжествующее звучание: *нет конца!*

В конце пьесы племянник, осевший в Москве, – вероятно, списанный с самого автора, – приезжает навестить тетюшек. В гости приходит другой москвич, племянник говорит ему: «Я понял, что Бердичев – это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя... Так всегда поступали люди во время катастроф, кораблекрушений, землетрясений и пожаров... Начните это разбирать по частям, и вы обнаружите, что заплыванные, облитые помоями лестницы, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого... В столичных квартирах вы никогда этого не ощутите». Гость уходит, тетюшка спрашивает: про что ты с ним говорил, я не поняла? Племянник объясняет: «Я говорил, что вы свой бердичевский дом сами себе сложили из обломков библейских камней и плит, как бродяги складывают себе лачуги из некогда роскошных автомобилей и старых вывесок. А он живет в чужих меблированных комнатах». Потом прибавляет: «Но скоро весь Бердичев переедет тоже в меблированные комнаты, а библейские обломки снесут бульдозерами». «Так вы про квартирный вопрос с ним говорили?» – уточняет она. – «По сути, да, про квартирный вопрос».

«Драма в трех актах, восьми картинах, 92 скандалах», как определяет ее автор. Две сотни страниц, 32 персонажа, три десятилетия сценического действия, непонятно сколько, 7, а может быть, и 10 часов, сценического времени! Для какой она постановки? Вообще, можно ли ее в принципе поставить? Я отвечаю: да. В определенном смысле это мистерия. Многовековая история, сведенная до размеров мистерии. Совсем другой ритм, другой темп, нежели в современном двухчастном спектакле с буфетом в антракте. Что-то сродни «Берегу утопии», «русской» пьесе Стоппарда, идущей целый день. Поддаться этому ритму заставляет язык. Персонажи говорят на неживых языках: на куцем, безграмотном, исковерканном фильтрами местечковости русском – и на непонятном никакой уже публике идише. Словарь крайне ограничен, одни и те же слова, одни и те же закостеневшие выражения повторяются по много раз. Что-то сродни абсурду Ионеско, Беккета, но оправданное реальной практикой бердичевского быта. Который сам по себе абсурден – в глобальном контексте. Пьеса, написанная с великим замахом: еще одна «уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма». 40 лет назад ее автор и автор этой колонки попали в один и то же набор Высших сценарных курсов в Москве. Сегодня мне льстит вспоминать об этом.

2008 год

22–28 января

Самый главный интерес человека в жизни (можно сказать, всепоглощающий), и главная привязанность (ни в малой мере не чувственная), и главная забота (диктуемая отнюдь не долгом, не связями, не установкой и не идеями) – здоровье. Собственное здоровье – эдак с сорока, когда начинают убывать волосы и прибывать морщины, и до скольких доживешь. Если бы кому удалось описать с максимально возможной подробностью все перипетии, подъемы и спады, преданность, самоотверженность до самозабвенности, измены, восторги и отчаяние, неразлучимость, слияние и противоборство, а над всем – с самого начала нависающую обреченность в отношениях между человеком и его здоровьем, причем описать с точек зрения обеих сторон, – такая книга стала бы бестселлером мгновенно и во веки веков. Тут не надо входить в характер князя Мышкина и Анны Карениной. Тут вдохнул, кашлянул, прислушался, екнуло, жжет, сравнил с тем, что у героя, понял его, как самого себя. Тут любой читатель равен автору. Это чтение любили бы больше, чем футбол – в котором специалисты все, поскольку каждый хоть один раз пнул мяч. А на это поле каждый не разы выходил, но, выйдя, ни на миг с него не уходил, провел на нем все 40 или сколько там миллионов минут своей жизни. Тут сплошь эксперты, сплошь профессионалы!

И сплошь герои. В литературном смысле слова – как персонажи этой воображаемой книги, и в античном – как прометеи, сизифы, танталы. У Зощенко есть рассказик: сидящие в очереди к врачу больные коротают время, соревнуясь рассказами о своих хворях. Один мрачно не принимает участия, чем несколько нервирует остальных: с чего это такое высокомерие? Наконец, к нему напрямую обращаются: а у вас что? И он рубит – одно слово: рак! И все смолкают. Да-а, не поконкурируешь своими бронхитами, прострелами, грыжами. Проходит минут пять, и невзрачный мужичок возвращает всех к жизни: «Ну, еще смотря какой рачок». Соревнование продолжается. Дескать, конечно, твоя болезнь – Геракл, никто не спорит, но ведь и наши при определенных условиях могут выйти в Антеи.

Хочу извиниться перед молодыми читателями, для них здоровье, я надеюсь, все еще спорт, фитнес-клуб, сноуборд и гудёж до утра. О чем я пишу, им представляется принадлежностью особого племени *предков, черепов, бабулек*, им чужого и совершенно неинтересного. Справедливо. Но скука, сопровождающая для них разговор о здоровье, для меня окупается тем, каким захватывающим он является для другой части читателей, это племя составляющей. А также тем, с какой неотменимостью и напором недавние молодые ежечасно перебегают из своего племени в это.

Мы живем во время, когда возраст поменял сроки: нынешние 50-летние соответствуют 40-летним предыдущих поколений, 70-летние – 60-летним. Сидевший рядом со мной в метро парень читал в газете статью о демографических неполадках, вызванных таким положением дел. Заметив, что я скосил взгляд, он сказал, без неприязни, но и без сантиментов: «Да-да. Такие, как вы, ставят под угрозу экономику. Мои налоги оплачивают вашу пенсию». Я находчиво возразил, что как сердечник принимаю горсть лекарств, и месячная стоимость одного из них равна в аккурат моей пенсии. На остальные уже его налогов не хватает. А мне ведь еще нужно на еду, квартиру, башмаки, не говоря уже о сафари, яхтах и тайском массаже, в которых вынужден постоянно себе отказывать.

Воду из ручья пить нельзя, из крана тем более. Вдыхать воздух, если серьезно, тоже: вдыхаем, подчиняясь инстинкту, и потому, что нет выбора. Наэлектризованность атмосферы: техническая, бытовая, социальная, экологическая – возрасла по сравнению с годами моей

молодости в десятки раз. Это на одной чашке весов. На другой – медицина, два главных ее направления: хирургия и фармакология. Режут шикарно: запросто, как окошко, раскрывают грудь, артерии микроинструментарием чик-чик, на их место из руки-ноги чик-чик, за-пираем, за-шиваем, за-матываем, прихлопываем для прочности – бегай. Лекарства синтезируются не менее баснословные. Но с ними не так все очевидно.

Собственно, это и был первоначальный толчок к написанию моих заметок. В ноябрьском за 2007 год номере журнала «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин» я наткнулся на исповедь американского врача-психиатра. Крупная фармацевтическая компания по производству антидепрессантов предложила ему участвовать в рекламе недавно разработанного лекарства. От него требовалось всего лишь явиться в более или менее шикарный ресторан и за бесплатным ланчем рассказать нескольким своим коллегам о достоинствах нового препарата. Достоинства реальных, не выдуманных. За это он получал 500 долларов, а если дорога до ресторана занимала более часа – 750. За год он заработал 30 000 долларов – прибавку к его обычному годовому доходу в 140 000. И – вышел из игры.

Любое лекарство дает побочный отрицательный эффект. У этого были кое-какие незначительные преимущества перед уже существующими, но оно могло вызывать повышение кровяного давления, и от него было труднее отвыкать. О чем врач упомянул на очередном ланче. Через несколько дней менеджер, привлечший его к работе, заметил ему, что он говорил без энтузиазма. Тот решил, что становится слишком зависим от спонсоров. От людей, которые вносят его заработок в стоимость лекарства – за что расплачиваются из своего кошелька больные. И, испытывая угрызения совести, от дальнейшего сотрудничества отказался.

К чему я хочу свести все здесь написанное? К тому, что прочел у Монтеня: «Я предоставляю врачам назначать мне по их усмотрению бульон из порея или латука и пить белое вино или красное; я даю им полную свободу во всем, что не задевает моих желаний и привычек». К тому, что сказал в интервью великий интеллект современности Наоми Чомски: «Прибыли фармацевтов колоссальные, и с точки зрения бизнеса им предписано законом, чтобы они выпускали для богатых западных людей средства от морщин, а не лекарство от малярии для гибнущих детей Африки». К тому, что говорит пророк Иисус, сын Сирахов: «Почитай врача честью по надобности в нем». А также к тому, о чем рассказал прозорливец Анания: «И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса».

12–18 февраля

В сентябре 2007-го в Екатеринбурге издательство «У-Фактория» выпустило в очередной раз трехтомник «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына. В декабре – еще одно издание, в «Вагриусе». Разнится со всеми предыдущими опубликованным впервые поименным списком 227 человек, «свидетелей Архипелага, чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги». Остальное – канонический текст, тот же, что, например, у меня, изданный в 1987 году в ИМКА-ПРЕСС в Париже: три томика карманного размера по 600 в среднем страниц мелкого шрифта в каждом. Я к ним привык, их время от времени открываю проверить какие-то сведения. Немедленно утыкаюсь во что-то соседнее и, хотя и известное, прочитываю всю главу до конца.

И новое издание тоже: в гостях увидел на книжной полке и тут же, почти неприлично по отношению к хозяйке и застольному разговору, отмахал главу «Голубые канты». Нелепо воздавать похвалы книге, появившейся треть столетия назад, но все превосходные эпитеты к ней применимы: редкостная, замечательная, поразительная. Сейчас уже, в первую очередь, как художественное произведение, а не как было при ее первом появлении в начале 1970-х, разоблачение истребительной государственной системы и уникальный документ истребительной эпохи. У Шаламова разоблачение никак не меньшее, и художественно «Колымские рассказы» тоже – редчайшие, грандиозные, стоящие в первом ряду литературы, которая видит жизнь там, где человек уверен, жизни быть не может. Но «ГУЛаг» еще и жанр, новый, неожиданный, появившийся там и тогда, где время приготовило ему единственное место. Какой жанр? Сам не знаю какой. Чем заниматься литературоведческой формулировкой, естественнее всего назвать его жанром «архипелаг-гулага», то есть жанром, который одна эта книга и представляет. Что-то в нем есть от античных историков – Геродота, Тацита, что-то от «Голубой книги» Зощенко, но главное – она сама, эта книга, «Архипелаг ГУЛаг», в целом: ее содержание, ее манера подачи фактов и обращения к читателю.

Тиражи новых изданий в сравнении с прежними миллионными смешные, почти нет отзывов в печати. Жизнь переменялась, сюжет перестал быть актуальным. И, с сожалением должен констатировать, автор сам немало сделал для этого. Я отношусь к нему как к крупнейшей творческой фигуре России 2-й половины XX столетия. Русской литературы и русской жизни. Сочетание слов «русская литература» здесь первоначально: наш отсчет идет от Пушкина и Толстого, которые, помимо того, что они авторы «Евгения Онегина» и «Войны и мира», еще и – Пушкин и Толстой, явления, стоящие как бы вне того, что они написали. Соответственно, и «Архипелаг ГУЛаг» я расцениваю как самое значительное произведение, созданное в те десятилетия.

Все наши личные, сплошь и рядом диаметрально противоположные претензии к Солженицыну проистекают из его деятельности общественно-политической. То, что в момент первого публичного появления так влекло к нему и такое почти всегда вызывало восхищение: *говорящий как власть имеющий, бесстрашный, в одиночку идущий против силы* – неизбежно привело к разочарованию. Он счел себя *знающим истину, понимающим за других, пророком*, и естественной ответной реакцией стало: *а с какой стати?*

Суть абсолютно неизвестного ему уклада западной жизни он постигал с самоуверенностью артиллерийского капитана, глядящего сквозь грубую оптику простых приборов.

Путаное псевдоисследование взаимоотношений русских с евреями выдало немудреный антисемитизм натуры, искренне не сознающей себя антисемитской.

Возмущение ельцинским периодом отозвалось почти детским отсутствием самокритичности: как же так? я говорил, вот как надо, а сделали не по-моему. На что хочется сказать: да окститесь, вы без усталости и страха говорили, что подлую душегубку советского режима надо

взорвать, она и взорвалась. А как разметало обломки и в какую конфигурацию они сложились, на то и взрыв, чтобы не подчиняться ничьим предписаниям.

Даже когда он высказывает политические или исторические суждения, исполненные убедительного здравого смысла, это редко возвышается над уровнем телевизионных экспертов, толкующих на те же темы.

Ход вещей, начатый обрушением стен, под которые роковую массу динамита подложила книга «Архипелаг ГУЛаг», привел к власти Госбезопасность. Нас уверяют, что не ту, которая везла Мандельштама на поселение в Чердынь, не «двойку конвойного времени», а ту, которая почтительно навещает Солженицына в Троице-Лыкове. Да он сам, как это ни неправдоподобно, и уверяет. И не задерживается хвалить и благодарить. Возможно, с какой-то «всеохватной» русской профетической точки зрения, так оно и есть. Но тогда зачем нам читать книгу, которая трактует людей этого ведомства как ничтожеств, зверье и убийц? Доверия к написавшему главу «Голубые канты» его новая широта взглядов не добавляет. Со своей стороны, Госбезопасность отказывает «Архипелагу» в праве напоминать, сострадать замученным, предостерегать нынешнюю Россию от угроз повторения. «Это наша *история* – (и дальше безо всякой логики, в приказном порядке), – и нам нечего ее стыдиться».

Но должен признаться, моей оценки этой большой, так богато одаренной, выдающейся личности все это не меняет. Я предпочитаю несправедливые, продиктованные полужнанием, дидактические, но со вспышками прозрения, а главное, не приземленные нападки Солженицына на западную цивилизацию – усредненной защите ее достижений. Мне претит антисемитизм, но мнение его о евреях не играет решающей роли в моем мнении о нем. Его позиция последних десятилетий, совершаемые им шаги слишком часто вызывают тоску и горечь, но, подумайте: человеку исполняется 90 лет! С выхода в свет «Ивана Денисовича», поменявшего наше зрение, поведение, голос, прошло 45, половина его жизни! Чемпион по прыжкам в высоту не может все время брать рекордную планку. Представим себе на минуту страну *без* Солженицына. Бедней, бледней, скучней. Что до меня, я за то, чтобы от него исходили вещи пусть даже такие, с которыми я не согласен, которые меня возмущают или смешат, но чтобы исходили. Чтобы он, сколько ему хватит сил, был жив, был здесь.

19–25 февраля

В конце декабря прошлого года в помещении «Мемориала» состоялась презентация нового издания книги Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»

Я знал ее лично, очень поверхностно, видел раза три, коротко говорили. Однажды Аксенов, ее сын, повез меня к ней послушать певца Вольфа Бирмана. Бирман был восточный немец, гэдээровец, песни строил на аллюзиях, поддевал режим. Попал он к ней в дом через ее мужа, тоже немца, ее солагерника. В их компании было несколько таких, с похожей судьбой, прошедших через зону, арестованных за то, что немцы: русских интеллигентов. Из гостей помню Копелева, известного германиста, тоже бывшего сидельца, связанного между немецкой и русской культурами, а еще – Окуджаву, Ахмадулину, нескольких других знакомых. Бирман пел пронзительным голосом, в манере артистов театра Брехта, еще довоенного (а может, такие песни по-немецки петь иначе нельзя), Копелев переводил. Мы были не в восторге, присутствовала в этом инакомыслии какая-то как бы сверху спущенная разрешенность. Возникало впечатление, что, конечно, официоз ГДР предпочел бы обойтись без Бирмана, но раз уж он есть, пусть служит примером диссидента, который вот, не в тюрьме, не умирает с голоду и даже выезжает за границу. Ахмадулина выразила это довольно решительно: ваш Ульбрихт, сказала она (Ульбрихт был тогда гэдээровским коммунистом № 1, Бирман по нему прошелся, аккуратно, но все-таки), не достоин и самого беглого упоминания, он всего лишь муравей, застрявший в янтаре, и вообще, пусть споет Булат.

Евгения Семеновна, ее муж, их друзья вели себя, как вели бы себя в подобной ситуации в любом такого уровня европейском обществе. Не бросались исправлять положение, не выражали певцу сочувствие, не улыбались приветливо-снисходительно его обидчице. Они принимали Бирмана с уважением, отдавали ему должное – и с таким же уважением принимали право поэтессы так говорить, отдавали должное ее позиции и подходу. Больше того, мне казалось, они ценили то, что в России возможно заявлять свое мнение так открыто, открытей, чем в буржуазно воспитанной Европе. И допускаю, что в глубине души любили такое налетающее в любую минуту состояние легкого скандала а-ля Достоевский.

Они были интеллигенты, они были интеллигенцией. Для меня это центральный пункт их характеристики, база, на которой сложились их судьбы. Отсюда идет отсчет всего, что с ними случилось, – и того, как они с этим справились. Сейчас русскую интеллигенцию принято лягать, не говоря уже, вытирать об нее ноги. Этим занимаются все в широком диапазоне от вульгарных черносотенцев до признанных деятелей культуры. Зачин дали народные любимцы Ильф и Петров, изобразив в романе Васисуалия Лоханкина. Рецепт простенький, «для бедных»: рефлектирующий, ничего не умеющий тип, использующий нахватавшиеся из книг соображения для того, чтобы жаловаться на неудобства жизни. Это такие, как он, по мнению ругателей, допустили, если не спровоцировали революцию, ничего не противопоставили большевистскому террору и невежеству, дали себя и простых людей, которые считали их авторитетом, унижить до края. Солженицын тоже постарался в создании такой репутации – пригвоздив их «образованщиной».

Ну да, есть и такие, и их порядочно. Но не больше числа тех, кто все посланные им десятилетия *невыносимых* испытаний *вынес*. Многие – с достоинством. Хотя то, что они просто *выжили*, неизмеримо грандиознее того, с достоинством или без. Это поколение моих родителей – и отцов или дедов любого из кидających в них сейчас камень. Они учили наизусть стихи, ходили на концерты и в музеи. Это, на взгляд нынешних обличителей, главное против них свидетельство: *размазни, слабаки*. Однако они же, голодные-холодные-рваные, не просто вытянули детей, а привив им устои, не просто сохранили семью, а как культурный институт. Да если угодно, вытянули и сохранили страну как традицию. А заодно и тех, кто их поносит.

Их *забирали*, они отволакивали невероятные сроки, с биркой на ноге ложились в общий ров. Те же, кто, как Гинзбург, доживали до воли, не сосредотачивались на поисках виноватых. У них была цель: остаться собой – получая удовольствие от повседневных крох радости, сопротивляясь повседневным попыткам режима придушить их, преследуя неизменные идеалы.

Это делало из них диссидентов. Они не собирались ими становиться, но само получение удовольствия от чего-то не санкционированного в качестве «радости» властью; само желание сопротивляться удушению; само служение каким-то идеалам – и было инакомыслием. Власть была не чужой коммунистке Евгении Гинзбург, но, как и всякий нормальный, не идеологизированный до состояния зомби человек, она исходила из того, что любить или не любить Пастернака – целиком и полностью ее личное дело. Что ей самой решать, защищать или не защищать преследуемого, и в том и в другом случае беря на себя ответственность за принятое решение. И так далее. То есть строительство нового общества, подчинение партийной дисциплине и прочее – вещи важные и необсуждаемые, но уступающие главной: быть Евгенией Гинзбург. Это ли не диссидентство, это ли не тянет на 18, в общей сложности, лет лагерей и ссылок?

Сейчас выглядеть бывшим диссидентом примерно так же привлекательно, как вспоминать пылкие романы своей молодости. Какой я тогда был *ух!*, какой *боец*. Люди, вполне, а иногда и в высшей степени, благополучно сосуществовавшие с советским режимом, считают себя – кто из выгоды, а большинство искренне – борцами с ним. Они милы новому режиму: чем иметь дело с типами в поношенных свитерах, чей взгляд источает недоверие и непримиримость, куда приятнее встречаться на приемах с симпатичными людьми в рубашках от Кензо, на которых в девятьсот лохматом году кричал (в Манеже, помните? о, тот Манеж!) Никита Хрущев. Да о чем говорить, когда как-то так выходит, что главным борцом с несправедливостью оказывается КГБ?

Но *тот* маршрут был крутой, ой крутой. Это одно из лучших книжных названий. Оно сохраняет свою неодолимую энергичность и при новом, нынешнем значении этого слова. Думаю, не один современный писатель хотел бы быть автором такой книги. Но та крутизна сегодняшним «крутым» не похоже, что под силу.

11–17 марта

В Берлине, в помещении вокзала на Потсдамской площади, открыта выставка «Поезда смерти». «Открыта выставка» сказано немножко пышно – на самом деле это несколько стендов в непрезентабельного вида углу огромного вокзального помещения. Но и упомянуть об этом походя не выйдет: 5 лет выставка была предметом спора министра транспорта Германии с начальником железных дорог. Начальник стоял на том, что, как и всем выставкам, ей место в музее. А цель железных дорог перевозка: людей и грузов. Все, что от этого отвлекает, может пойти во вред удобству и качеству транспортировки. Министр же переводил разговор в плоскость гуманитарную: как в таком случае быть с перевозкой людей в концлагеря в 1930-1940-е годы? Тогда на немецких железных дорогах служило 600 000 человек, с началом войны их число значительно возросло, они обслуживали многомиллионный поток пассажиров, а также промышленных и сельскохозяйственных производителей. Любого человека, приходивший на вокзал, не мог не видеть детских колонн, шагавших на специальные перроны к специальным поездам. Тем не менее никого ни от чего это не отвлекало. Тогдашний железнодорожный начальник верой и правдой служил режиму, который истреблял детей. Почему бы нынешнему их не помянуть? Происходило это здесь, на этом вокзале, на этих платформах, вот и давайте.

Я передаю только смысл того, что говорилось обеими сторонами. Слова были другие. Слова были – «слишком серьезная тема, чтобы, жуя булочку на пути к поезду, в нее погружаться». В ответ звучало – «национал-социализм – это диктатура, пустившая корни в быт и повседневность каждой семьи». В конце концов согласие было получено. Хотя прав оказался скорее начальник дорог: указатель к экспозиции теряется среди многих других; те, кто обращает хоть какое-то внимание на стенды, действительно делают это на бегу. Тут важно другое: самый существенный довод министра транспорта заключается в довольно остром замечании – не надо, «чтобы складывалось впечатление, что немецкие железные дороги хотят скрыть или затушевать свое печальное прошлое». Другими словами: нельзя выдавать прошлое за небывшее.

Около года тому назад я уже писал о подобной выставке, тогда она была развернута в парижской мэрии. Ну вот, еще одно из ее повторений. Дела давно минувших дней, не надоело ли? Это смотря как на минувшие дни посмотреть. Скажем, Бородино. Или Сталинградская битва. И то, и то превратилось в памятник, в панораму. И то, и то вызывает в душе чувство скорби, восхищения подвигом, преклонения перед самоотверженностью. Но не столько уже само событие, сколько его описание в стихотворении Лермонтова, в книжке Виктора Некрасова. И то, и то получило завершение, стало историей. А вот Катынь не стала. Окрик «хватит о Катыни!» не дает этой трагедии закончиться. Если бы нам как гражданам страны, в которой в 1940 году расстреляли пленных польских офицеров, дано было внятно, свободно, а главное, с признанием вины выговорить наше отношение к случившемуся, не думаю, чтобы эта трагедия оставалась в нынешнем подвешенном состоянии. То, что кровопролития, случившиеся в еврейских местечках и городских кварталах сто лет назад, были названы словом «погромы», не уменьшило числа жертв. Но трагедия получила имя и под таковым вошла в историю. А кровь армян потому и не высохла до сих пор, что для резни 1915 года подбираются более красивые слова.

В этом направлении моя мысль произвольно двигалась 5 марта. «Листая» телевизор, я попал на передачу «К барьеру». В Москве, как и в Берлине, тоже схлестывались, и тоже по поводу прошлого. Но если бы переводить в немецкую реальность, то у нас ор стоял о том, были ли наш фюрер безукоризненно великолепен или великолепен, но иногда допускал просчеты. Ору этому не 5, а уже 55 лет. Я не обсуждаю Сталина. Я не обсуждаю Гитлера. Маленкова, Жда-

нова, Кагановича, Молотова. Геббельса, Риббентропа, Гиммлера. Последний раз обсудил лет в двадцать и удовлетворился. Мне совершенно все равно, сколько голосов кто на телешоу получит. Я знал цену и одному «дуэлянту», и другому. Момент перепалки, на который я попал, примерно соответствовал тому, чего я от этой передачи ожидал. Я уже готов был переключиться на следующую программу, но заговорил один из «секундантов». Такой круглолицый умник. Его позиция была ясная как пузырь. Что Россия хороша как Божий день, а Запад – сатана. Что Сталин был за Россию, а Америка против. Что антисталинисты – предатели родины. И прочее в этом духе. Он старался вести себя небрежно, произносить все это с легкой усмешкой в сторону тех, кого такие заявления должны обличать. Так же нон-шалантно он пульнул: вот вы там всё говорите – жертвы ГУЛага, миллионы, миллиарды – а ведь не доказано...

Я перешел на следующий канал. Там тоже лилась чья-то речь, но я никак не мог вникнуть, о чем. В ушах застряло: *миллионы, миллиарды*... То есть он хотел этой тонкой иронией показать, что всего-то ничего погибло в лагерях, а разные гопники раздули. С экрана понеслась песня (тоже, кажется, о Сталине-мудром – такой был день, его бенефис), а я думал, как бы этого с предыдущей программы спросить простецки, банально: «всего ничего» – это сколько? Например, пять человек, много или мало? Ну конечно мало. А например, если это твоя мама, твоя молодая жена, твой сын, твой друган с младших классов – это сколько, четыре? Ну и для ровного счета товарищ Сталин, сам-пять. А, телевизионный секундант? Уже многовато, нет? Или терпимо? Смеяться так смеяться. Ведь главное, чтобы не вообще Россия, а Россия по твоему вкусу. Ради такой – ну их на фиг, маму и прочих. Тем более чужих мам и чужих прочих. Да хоть бы их и миллион, и десять, и сто – какая разница. Лишь бы товарищ Сталин был жив.

Вообще-то, правда смешно. Я смешон. Чего-то надрываюсь, взываю. Бормочу: «Ни стыда, ни совести, ей-богу». Тут бы секундант прямо прыснул. Сказал бы: а как же? И не должно быть. Нам нужна сила. А стыд, совесть – слабота, ничего больше. И что я ему пискну в ответ? Что, может, враги, которыми окружена Россия, не столько ей враги, сколько этой самой бесстыжести и бессовестности? Что, может, их не Божьего дня красота так настраивает, а твои о нем грезы?

Мы же, когда о Сталине сейчас говорим, не о Сталине говорим. И министр транспорта Германии, когда о Гитлере, не о Гитлере же. А о том, скрыть или не скрывать, затушевать или не затушевывать, и в сердцевине вопроса: печальное или не печальное *наше* прошлое. Потому что дальше-то жить – с этим или без этого? А точнее – *за* это или *против* этого?

1–7 апреля

Поэт в России не больше-чем-поэт, не меньше-чем-поэт, а что-то другое-чем-поэт. Этот газетный афоризм про больше-меньше пришелся исключительно по вкусу читающей публике. Но читающей не совсем поэзию, а, условно говоря, Багрицкого и Евтушенко. Последний его и придумал, он чемпион газетных афоризмов. Не стоит подозревать меня в недооценке его или Багрицкого, они талантливые поэты, я только констатирую факт, что их поклонники не больно-то читают, скажем, Анненского, Мандельштама или Ходасевича.

Это такой же факт, как то, что поэт в России – что-то другое, чем, например, поэт в Англии или в Греции. Русские обстоятельства так складываются исторически, что в определенные времена поэт становится голосом страны, как правило, или полностью безгласной, или говорящей делано, оперно, имитирующей фиоритуры власти. Поэт, которого предполагает изречение Евтушенко, вмещает в себя целый букет других ипостасей: он также и политик, и боец, и философ, и святой. Потому что других политиков, бойцов, философов и святых в эту минуту просто нет. Министр иностранных дел Нессельроде повторяет слово в слово за царем, декабристы в Сибири, Чаадаев объявлен сумасшедшим, молитвенники за людей принадлежат церкви, а не обществу. Всё сходится в одном Пушкине.

Такой фигуре – поэта, на котором фокусируется внимание целой страны, – должна соответствовать биография. Как говорила Ахматова о молодом Бродском: «Какую биографию делают нашему рыжему!» – имея в виду совокупно его ранний успех, арест, ссылку, защиту со стороны интеллигенции и Запада. Опять-таки: образец такой судьбы – пушкинская. Лицей, общий восторг по поводу уже юношеских стихов, опала, две ссылки, травля, дуэль, смерть в 37 лет. Первый поэт, умнейший, по заключению царя, человек России, муж красавицы, мученик. Последнее необходимое условие для признания за поэтом такого статуса – осведомленность широкой публики о его личности, жизненных перипетиях, слухи, домыслы.

И наконец, общественная надобность в нем. 1900-е годы были эпохой Блока, его предчувствия, отчаяние и выдержка выражали ее. В 1910-х проницательный критик писал о нужде общества в поэте-женщине. Для этой фигуры словно бы была изготовлена ниша, Ахматовой оставалось только занять ее. Чуковский вспоминает, как году в 1920-м при нем зашел в книжную лавку покупатель: Блок есть? – Нет. – А Ахматова?.. То есть на то время она, по общему согласию, его, «поэта России», заменила.

В этом ряду стоит – с точки зрения литературного ранжира как бы не по чину – имя Надсона. И однако место занимает по праву. Он был не так одарен, как его выдающиеся соседи по списку, его стихи слишком декларативны, прямолинейны, надрывны, это даже не второй, а третий план русской поэзии. Но они, как никакие другие, были поддержаны драматической судьбой, страданием, гибельностью, а главное, на редкость точно удовлетворили спрос поколения, класса, тогдашнего духа времени на поэзию. Именно декларативность, именно прямолинейность, именно надрыв отвечали мироощущению молодежи, чье детство совпало с реформами Александра II. Раскрепощенная им в прямом и переносном смысле слова страна была решительно и быстро приморожена Александром III. Мы испытывали похожее в 1950-е, в «оттепель», когда общественные сдвиги и обещания, последовавшие после смерти Сталина, сменились окостенением и угрозами. Или в 2000-е, когда, хватанув при Ельцине свободы, были загнаны в лабиринт регламентированных вертикалей, однопартийности, выдуманной демократии.

В 1880-е интеллигенция дворянская стала смешиваться с разночинной и до какой-то степени вытесняться ею. К этому времени Пушкин был уже однажды «развенчан» и снова вознесен на пьедестал вместе с памятником, воздвигнутым посередине Москвы. К этому времени уже похоронили Некрасова – многотысячной толпой под выкрики «равный Пушкину!»

и «выше, выше Пушкина!». Живы были и писали замечательные поэты, Фет среди них. Но обществу, широкой публике нужна публицистика, а не лирика. «Наше поколение юности не знает, юность стала сказкой миновавших лет», – вот что заучивали наизусть молодые, а не «И темный бред души и трав неясный запах»: Надсона, а не Фета. «Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем, нас томит неверье, нас грызет тоска, даже пожелать мы страстно не умеем, даже ненавидим мы исподтишка». Можно было бы сказать: лермонтовская струя. Но с той огромной разницей, что «мы» Лермонтова – это немногочисленные печорины, а «мы» Надсона – тысячи студентов, учителей, врачей, земских деятелей. А еще – что стихи Лермонтова распространялись в рукописных списках, а надсоновский сборник переиздавался чаще, чем раз в год, и разошелся в общей сложности тиражом 50 тысяч.

Он умер от туберкулезного менингита неполных 25 лет от роду. Через 8 дней исполнилось 50 лет со смерти Пушкина. В сознании либеральной публики эти даты напрямую связались. Уже умирающего Надсона травили в газетах типа нынешнего «Завтра», и теми же приемами. Стилль этот был Надсону знаком по отношениям с семейством его русской матери, которое не простило ей брак с евреем. Антисемитизм тогда базировался на само собой разумеющемся презрении к евреям. Травившие еще не осознали, что те становятся частью русской интеллигенции. Это лишь спланивало общественное мнение за Надсона. Его смерть приравнивали к убийству: обвиняли главных участников травли, в самом деле клеветнической, аморальной и низкой. Самые известные русские писатели в написанном совместно письме в газету оценили происшедшее как трагическую утрату – и глубокое неблагополучие в сфере этики. Журналисту, перешедшему за границы всех приличий и побившему все рекорды злобы, Толстой написал лично, предложив ему стать собственным судьей и подсудимым.

В Надсоне хотели видеть жертву, но и борца. А он и был выразительнейшим воплощением той и другого. «Как мало прожито, как много пережито» или «пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает» – может считаться эталоном поэтической пошлости и одновременно образцом гражданской позиции. В России благородство и чистота на протяжении почти 200 лет шли при оценке творческой фигуры впереди достижений эстетических. Фигура Надсона как поэта идеально ответила толстовской формуле: числитель, равный знаменателю. Результатом стало целое, единица.

2–8 сентября

Мы живем в историческую пору, главной характеристикой которой является отсутствие событий. Это не значит, что ничего не происходит, наоборот, происходит каждую секунду, происходит много-много больше, чем может индивидуальное, а значит, и коллективное, сознание охватить, – и эта избыточность тоже показатель пустоты на месте, предназначенном для события. Показатель – и средство борьбы. Что-то случается, что-то значительное, заряженное неизвестным, но явно весомым итогом, важное для многих, наливающееся содержанием подлинного, бесспорного, возможно, исторического, события. Но включаются разнообразные механизмы и не дают ему до такового дозреть... Подводная лодка «Курск». Трагедия равная гибели «Титаника», «Варяга». Но несколько дымовых завес в виде бессмысленных передвижений флота, невнятных переговоров, пресс-конференций, а потом торжественная прогулка генерального прокурора по развороченному металлическому остову – вот и всё, во что превратилось событие под названием «Курск». Нет «Варяга», есть телевизионная картинка – как миллион других на том же экране.

Эти мысли преследуют меня последнее десятилетие, хотя начались много раньше, пожалуй, в конце 1960-х. А взялся я о них рассказать конкретно сегодня потому, что стал читать «Захор» Йосефа Хаима Йерушалми и отклики на него в сборнике статей «История и коллективная память». Обе вышли в издательстве «Гешарим – Мосты культуры», первая в 2004 году, вторая только что. «Захор», имеющая подзаголовок «Еврейская история и еврейская память», появилась на свет по-английски в 1982-м, с тех пор переиздается и переводится на разные языки уже четверть века, вербует противников и сторонников, вышла за границы академического круга, стала, как и ее автор, знаменитостью. Стала как раз *событием*. Пересказывать ее не буду – кто хочет, сам прочтет: умная, личная, животрепещущая книга, захватывающее чтение. Для затравки процитирую лишь одно из узловых положений особого статуса истории в еврейском национальном сознании: «Иерусалим был захвачен Навуходоносором не потому, что вавилонский царь был могуществен, а потому, что Иерусалим был грешен и Господь допустил его падение».

Чем дальше я читал, тем чаще останавливался отвлекаемый соображениями, на которые наводит всякая настоящая книга независимо от желания читателя. И довольно скоро выделилось из них самое неотвязное: а что станет новой историей России, *нашей* историей? Что через некоторое время *мы* будем вспоминать? Какие события в этой намеренно, последовательно и упорно изготовляемой бессобытийности? Говоря «мы», я имею в виду не себя и своих сверстников, сходящих со сцены, а младших современников, которые уже сейчас становятся хранителями коллективной памяти и через 15–20 лет представят ее миру как новое месторождение, новый рудник истории.

Хотя дезинформация давно и успешно превосходит самые обыкновенные безыскусные описания происходящего, а фальсификация – элементарное изложение фактов, речь не о них. Вокруг подавления в 1968 году чехословацкой свободы были наворочены горы дезинформации и фальсифицированы все шаги сторон и каждое произнесенное слово, однако картина случившегося на сегодня предельно ясная, и насчет «дружеской помощи СССР» ни у кого в мире сомнений нет. После этого, то есть за сорок следующих лет, Россия может насчитать, на мой взгляд, всего пять событий: Афган; Чернобыль; падение КПСС и Берлинской стены; Ельцин на танке – и, как весь мир, 11 сентября.

Про Чечню мы так и не знаем, была это война, или перераспределение потоков денег (и, соответственно, крови), или клановые разборки, или общемуслыманские.

Про Ходорковского и «Юкос» знаем, что к тому, что официально говорилось, случившееся имеет отдаленное отношение.

Про выборы мы знаем всё, категория *события* тут ни при чем. Чтобы нами правил тот, а не этот, согласны, хотя в имени правителя до сих пор путаемся.

И так далее. До последнего времени событиями непререкаемо считались рождение и смерть (свадьба, согласитесь, пререкаемо). Но после того, как уже два или сколько там лет никому, например, не известно, жив или умер Шарон, осталось только рождение.

Потому что когда-то событием была еще война. Но в Югославии – какая же это война? Объявляемые по радио бомбардировки, голубые каски, охота на военачальников, швейцарская прокурорша. Недавняя израильско-ливанская, под наблюдением телевизионных камер, международных комиссий и всего прогрессивного человечества, взвешивавшего каждую выпускаемую пулю, – если это война, то что такое состязание по бегу в мешках под строгим допинг-контролем?

На то, в каком виде наша коллективная память усвоит августовскую русско-грузинскую войну, воображения не хватает. «Принуждение к миру» – это что-то совсем новенькое. Несколько лет назад вошел в подъезд, а со мной еще четверо – и принудили к миру: на бумажник и сумку через плечо.

Впрочем, коллективная – это интегральная сумма индивидуальных, а индивидуальная у нас такая, какие мы индивидуумы. И поскольку наше отношение к жизни определяют философия, идеология и практика *пофигизма*, как называют это течение мои молодые современники, то, похоже, наша победа над Грузией уютно ляжет в один ряд с медалями Пекинской олимпиады. Не с Суворовым же и Жуковым. А вот с художественным подбрасыванием булавы и лент – в самый раз. Потому что булава и ленты, в частности, и Олимпиады в целом – одна из самых мощных и отлаженных индустрий по производству антисобытий. Вроде бы «быстрее, выше, дальше», все бегут, скачут и мечут, а в результате – сплошное синхронное плавание. И хоть сто лет в это вглядывайся, отложи все книги, включая «Захор», думай только о синхронности, ничего похожего на событие из этого не выколупаешь.

Вообще же, я о будущем никогда не гадаю и принципиально ни с кем не говорю, поскольку, какое оно, не знаю, как и никто на свете. Единственно что знаю, это что история бывает только у коллектива. То есть у совокупности индивидуальностей, каждая из которых имеет память. Будут ли таковые после десятилетий воспитания на отсутствии событий и, если будут, то объединенные памятью о чем, – вопросы, на которые у меня нет ответа.

16–22 сентября

Вечером 12 сентября по 1-му каналу российского телевидения был показан фильм журналиста Къезы «9/11. Расследование с нуля». Речь идет о теракте 11 сентября, оставившем после себя на месте двух башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке котлован нулевого уровня – *Zero*. Показ как мероприятие (а устроен он был в рамках ток-шоу), в общем, не скрывал того, что это очередная антиамериканская пропаганда. Из устоявшегося списка пропагандистов отсутствовали только Павловский и Проханов, остальные наличествовали *все*. На мой взгляд, в этом был некоторый просчет устроителей: как только показали физиономии персонально приглашенных, стало несомненно ясно, с чего начнется, как продолжится и чем кончится. Но чего я не мог предположить и что меня, признаюсь, ошеломило, это когда в заключение передачи ведущий попросил поднять руки тех, кто после этого просмотра продолжает верить, что теракт осуществили те самые обвиненные 19 арабов из Аль-Каеды. В зале сидело, на глаз, не меньше сотни человек – не поднял руки ни один! В Америке оспаривают результаты правительственного расследования, если не ошибаюсь, 500 человек из 300 миллионов. Примерно такая же доля в странах Европы. У нас не верят 100 %.

Я смотрел фильм с первого до последнего кадра, плюс последовавшее обсуждение. Вещь сделана по рецептам «двухминутки ненависти» из романа Орвелла «1984». Помните: посередине рабочего дня сотрудников собирают у экрана, по которому в течение двух минут идет нарезка из марширующих военных частей азиатского врага, отвратительного лица внутреннего врага Гольдштейна, блеющего нечто нечленораздельное, и жертв мирного населения. В конце 2-й минуты главный герой ловит себя на том, что, как и все остальные, в неконтролируемом психикой возбуждении и яростном негодовании на азиатов и пятую колонну срывает с ноги башмак и бросает в экран. В советское время я этого добра наелся досыта. Венгерские «события», пражские «события», «клика Тито», лжецы с радиостанции «Свобода», американский империализм, сионистские приспешники – каждый сюжет по отдельности и все в куче. Летящие бомбы, колючая проволока, трупы на виселице, Уолл-стрит, обрывки мелькающих бумаг с надписями «секретно», голос диктора, торжественно и обличительно перечисляющий цифры и буквы неизвестных зрителю «документов».

Но в ряду того, что составляло и представляло советскую власть: знамен, передовиков производства, зерновых элеваторов, рапортующих пионеров – пропаганда ненависти к тем, кто «не мы» и, стало быть, «против нас», была еще одним строительным блоком большого казенного здания. Условностью – необсуждаемой и в то же время исключительно серьезно принимаемой: как присяга на верность перед строем. Едва ли кто-то – все равно, изготовители или потребители продукта – относился к этому лично. Для людей же, которых опрашивал ведущий после просмотра «9/11», это была сама сердцевина, почти сакральная, того, чему они служат всей своей жизнью, зеница их внутреннего – не говоря уже о сверкающем внешнем – ока... Доказательства того, что теракт осуществили сами Соединенные Штаты, – говорил один из страстных политтехнологов, – меня заинтересовали, но надобности в доказательствах нет, я и без них не сомневался... Я сразу подумал, кому это выгодно, – назидательно объяснял другой. – Кому еще, как не американской верхушке?.. Это задачка для начинающих хакеров, – снисходительно делился знаниями председатель Исламского комитета России. – Навести компьютеры на цель, а противовоздушной обороне подсунуть поддельную картинку.

От того, как они были довольны, как бесспорно кадры фильма подтверждали то, что они думали уже тогда, в момент удара первого самолета в здание 11 сентября 2001 года, возникало чувство неловкости, неуютности. Команда, против которой они десятилетиями болели, проигрывала по всем статьям, их же выигрывала с разгромным сухим счетом. Редко так бывает, а у них – без осечки: сколько раз появляются в телевизоре, на радио и в газете, столько раз они

короли. Правда, их трибуна была единственной, какой бы то ни было им оппозиции не наблюдалось, может, и была да стеснялась. Поклонников Соединенных Штатов, так же как критиков исламского фундаментализма, в аудитории не нашлось. Один кто-то начал говорить, что был на месте катастрофы почти сразу после нее и видел то-то и то-то, но его строго одернули. Специально приглашенных инженеров, объяснявших, почему разрушение шло так, а не иначе и как могли самолеты выполнить маневр, уличили в расхождении показаний.

Как-то так все ладно катилось, что никто не обратил внимания, что разговор сместился в опасную плоскость. Робко, но все же вразрез с общим единомыслием, некто из гостей заметил, что все-таки не допускает мысли, что ради каких-то политических или экономических целей руководство США угрохало 3000 своих граждан. Его мягко высмеяли: несколько голосов, перебивая друг друга, уверили простака, что запросто, что не раз уже так было, что в политике и, само собой, экономике только так и бывает. Я тревожно напрягся, мне показалось, что кто-нибудь в запальчивости, не дай бог, приведет в пример также взрывы домов в 1999 году в Москве и Волгодонске. Но нет, пронесло. Это там, на Западе, почем зря по-гангстерски гробят собственную публику. А мы друг другом дорожим, нам в голову не придет эдак своих, потому что мы другие, мы Россия.

Дальше больше. Один из самых голосистых запевал антиамериканизма возгласил, что 11 сентября было переломной датой в том смысле, что после него из мира исчезла информация. Нет ее больше, мировые «средства массовой» только врут, фальсифицируют, зомбируют. Остальные тенора и баритоны с траурным видом единодушно это со сцены подтвердили. Чтобы не допустить и тени недопонимания, француз, сидевший рядом с итальянцем (а как же! и француз был, и итальянец для, так сказать, международной), без лишних тонкостей объявил, что у честных людей планеты осталась одна надежда узнавать правду: их взоры обращены к нашей стране.

Я регулярно слышу, что кто-то от кого-то терпит поражение в информационной войне: Израиль от арабов, Москва от чеченцев. Если такова *информационность* этой войны, может быть, действительно есть смысл ее проигрывать? Сохраняя тем самым какое-никакое самоуважение.

11–17 ноября

В издательстве «Ад Маргинем» вышел том Пауля Целана (1920–1970) «Стихотворения. Проза. Письма». В прошлом году в «Гешарим – Мосты культуры» двухтомник «Пауль Целан. Материалы, исследования, воспоминания». Чем так притягателен – сперва для переводчиков и специалистов, потом для издателей – этот поэт? И насколько притягателен он для читателей?

Начнем с конца. Есть несколько редкостно значительных фигур в истории литературы XX столетия, которых читаешь немножко через силу. Не можешь не читать, знаешь, что, не прочитав, упустишь нечто исключительно важное и существенное, но само чтение, продвижение от начала к концу каждого абзаца, каждой отдельной вещи, всей книги требует напряжения сил, преодоления внутреннего сопротивления текста, преодоления собственного вкуса и даже желания. Это труд. Он не доставляет удовольствия. Позднейшую удовлетворенность – да. Но отраду, радость, наслаждение – отнюдь. Франц Кафка. Вальтер Беньямин. Пауль Целан. Еще несколько имен. И то, что все они еврейские, не совпадение. Попробуем разобраться.

Речь не о языке, якобы не родном автору. Не владея материалом в полноте, не станешь мастером. Немецкий язык Кафки, или Целана, или польский Бруно Шульца – абсолютно свободный, абсолютно органичный, в своем роде (в кафкинском, в целановом, в шульцевом) образцовый. Свой от рождения, да и, можно сказать, свой, по крайней мере, во втором поколении. Звучавший где-то на периферии семьи бабушкин идиш играл роль более фонетического, нежели смыслового, экрана. Мы уже говорили о жадности родившихся в подобных обстоятельствах Мандельштама и Пастернака к русскому языку – который, с одной стороны, был единственным, естественным, собственным, а с другой – еще сохранял для молодых, в чьей семье он был усвоен за три стремительных поколения, новизну и свежесть.

Дело, вернее всего, в том, что XX век заставил евреев последовательно пережить. Начиная с буржуазной благопристойности, смертельную западню которой высветили предчувствия Кафки задолго до открытия охотничьего сезона. Западню самой по себе возникающей власти. Неизбежно тяготеющей – не обязательно к фашизму, не обязательно к коммунизму, не обязательно к сионизму, – но непременно к личной, а потому всеобщей, безвыходности. Западню для любого, для каждого человека – не обязательно для еврея. Просто коммунизм и фашизм оказались реальной практикой времени, а еврей – человеком, откровенно вытолкнутым на тропинку, ведущую к гибельной яме. Сионизм на этом фоне выглядел спасительным трамплином, способным перебросить через нее – куда-то, куда многим совсем не хотелось. В неизвестное, тоже больше идейно внушаемое, нежели внутренне выработанное, тоже отчуждающее от личного.

Чем дальше, тем меньше действительность притворялась справедливой, надежной, благополучной, меньше прикрывалась пристойными декорациями, меньше маскировалась под прошлое. Чтобы различить ее подлинную физиономию, не требовалось сверхъестественных прозрений. Но соблазнам ее иногда хотелось поддаться. Строительству в СССР принципиально иного мира. Техническим чудесам Америки. Новой изысканности Европы. Торжеству авангардизма над традиционностью в искусстве. Хотелось попробовать – «реального» марксизма, фрейдизма, теории относительности. Попутешествовать, побродить в пространстве молодого века, приобщиться его крупности и прелести.

Как раз этого и не получалось. Вышеупомянутое неудовольствие от чтения, доходящее до неприязни к нему, происходит от ощущения тесноты пространства. Что в кафкианских коридорах и заставленных вещами помещениях, что на советских улицах и в учреждениях из «Московского дневника» Беньямина. Целана поиски «невозможного пути, пути к невозможному», то есть собственного места в мире поэзии равно как и в большом мире приводят к «чему-то кругообразному, что, пройдя через оба полюса, возвращается снова к себе самому». Это нечто

– *меридиан*: «наподобие языка – нематериальное, но земное, относящееся к Земле». То, добавим мы, что существует на карте, но на чем нельзя жить.

Я объясняю – гипотетически – это явление следующим образом. Ставшая повторяемым бесконечно афоризмом фраза «после Аушвица нельзя писать стихи» верна не только и не столько привязкой к конкретному времени организации, существования и деятельности нацистских лагерей смерти. Аушвиц как место сбора обреченных на смерть людей начался еще прежде озвученного замысла, последующего строительства и оборудования. Так же как в определенном смысле не кончился по сю пору. Писатели, о которых я веду речь, были канарейками, которых берут с собой в шахту, потому что они первыми реагируют на рудничный газ. Реагируют умиранием. Невозможностью жить, дышать. Естественно, и невозможностью писать *стихи*. Так, как их писали прежде. Вообще говорить – по-прежнему.

Когда на соседних нарах кто-то умирает и следующая очередь твоя, ты не можешь говорить то и так, как если бы вы сидели в уютной гостиной или лежали на пляже. Один из самых пронизательных ценителей Целана Григорий Дашевский сформулировал сущность его творчества: «стихи предъясняются» не как техническое исполнение эстетических намерений, а «как свидетельство, произносимое в поле забвения, замалчивания, равнодушия, враждебности – в надежде на чье-то единичное понимание... При встрече с единичным читателем стихи Целана могут сами высвободиться из мягкой оболочки художественности, если читатель будет помнить, что стихотворение Целана само шаг за шагом «решается», само «делает выбор», а он, читатель, должен различать каждый следующий шаг и отвечать на него, должен участвовать в этом этическом движении».

Таково содержание самого понятия «писать стихи» в свете всполохов ушедшего столетия. Не «после Аушвица», не «в предощущении Аушвица» – в многолетнюю эпоху Аушвица. Конечно, это хочется переводить. Комментировать. Издавать. Еще и еще раз. Но что именно? Почти невыносимую соотнесенность с временем и гибелью? Или только слова, неласковые и неудобные?

2–8 декабря

Этой осенью я по одному и тому же поводу, а именно стихов, побывал в двух отдаленных друг от друга точках глобуса: в ноябре в Штатах, а в самом конце сентября в Узбекистане. Там проходил фестиваль русской поэзии, я был одним из десятка приглашенных. Когда мое поколение начинало, такие предприятия устраивались только официально, в рамках разнообразных советских «декад искусства». В последние годы меня заносило на поэтические сходки «престижные», «международного звучания» и так далее, представляющие собой парад: талантов, лиц, амбиций, таким дефилом, выставкой. На миг возникало ощущение, что твое там присутствие чуть ли не знак отличия и награда, а не естественный результат того, что ты пишешь стихи. Так что участие в ташкентской встрече было для меня более привлекательным, чем, хотите верьте, хотите нет, в парижском. Ташкентские чтения напоминали мне то, как это было в моей юности, когда собирались частным образом – почитать и послушать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.